

Избранное

*Короткая
проза*



М. ВЕЛЛЕР

М. ВЕЛЛЕР

Михаил Веллер
Короткая проза (сборник)

«АСТ»

Веллер М. И.

Короткая проза (сборник) / М. И. Веллер — «АСТ»,

ISBN 5-17-038570-6

«Короткая проза – это удар ножа, оставляющий долгое наркотическое воздействие. Настоящий рассказ – это жестко процеженная квинтэссенция романа, впрыснутого в один прием. Рассказ не пишется – он сначала проживается, а потом чеканится», – сказал Михаил Веллер о новеллистике в интервью еженедельнику «Аргументы и время». В книгу включено большинство лучших и наиболее характерных рассказов Веллера. Их разноплановость, непохожесть друг на друга – неизменный авторский принцип. Собранные вместе, рассказы создают уникальный по яркости и оригинальности новеллистический корпус. Содержание сборника: Фант. Все уладится. Транспортировка. Долги. Кошелек. Трибунал. Кнопка. Узкоколейка. Подполковник Ковалев. Хочу в Париж. Реал. Конь на один перегон. А вот те шиш. Недорогие удовольствия. Правила всемогущества. Дети победителей. Модерн. Последний танец. Лодочка. Бермудские острова. Свободу не подарят. Возвращение. Миг. Ни о чем. Цитаты. Коротк. Апельсины. Сопутствующие условия. Поправки к задачам. Паук. Думы. Эхо. Разные судьбы. Легионер. Свистульки. Юмор. Идет съемка. Плановое счастье. Кентавр. Хочу быть дворником.

ISBN 5-17-038570-6

© Веллер М. И.

© АСТ

Содержание

1. Фант.	5
Все уладится	5
Транспортировка	15
Долги	28
1	28
2	28
3	29
4	29
5	30
6	30
7	31
8	32
9	33
10	33
11	33
12	35
13	36
14	37
15	37
16	38
17	38
18	39
Кошелек	41
Конец ознакомительного фрагмента.	49

Михаил Веллер

Короткая проза

1. Фант.

Все уладится

Понедельник – день тяжелый, уж это точно. Но вторник выдался и того почище: Чижикова выперли с работы. Дело так было.

В понедельник с утра Чижиков успел поскандальить с женой, изнервничался, и когда пришел к себе в музей, все у него из рук валилось.

Значился Чижиков в шефском отделе по работе с селом, занимался координацией этой самой работы. В обязанности его входило договариваться с начальством других музеев об организации выездных экспозиций, с директорами совхозов – о размещении работников и экспонатов, с секретарями райкомов – о подстраховке директоров и с автобазой – о предоставлении транспорта. Собственно, весь отдел и состоял-то из него одного.

Поездки эти устраивались где-то раз в месяц, так что работы было немного, но и оклад у Чижикова был маленький, и он подрабатывал на полставочки экскурсоводом, водил группы по Петропавловской крепости. Жить-то надо.

Кстати, экскурсоводом он был хорошим. Вдохновлялся, трагические ноты в голосе появлялись, даже осанка становилась какая-то элегантная и значительная. Нравилось такое занятие Чижикову; слушали его с интересом и жадно, что нечасто случается, и писали регулярно благодарности в книгу отзывов.

Так вот, значит, в тот злополучный понедельник все у Чижикова не ладилось. У него, правда, всегда все не ладилось. У директора совхоза вымерзли озимые, и было ему не до Чижикова, в райкоме все уехали на какое-то выездное бюро, прижимистые музеи экспонатов не давали, в трубке все время идиотски переспрашивали: «Что за Чижиков?» – трубка эта чертова телефонная аж плавилась у него в руке, и голос осип.

Но в конце концов удалось Чижикову все организовать, и так он этому обрадовался, совершенно измученный и потный весь, – что забыл позвонить на автобазу. Просто напрочь забыл. Ну и, естественно, все приготовились – а ехать и не на чем. Кошмар! Ну и, естественно, вызвал Чижикова директор на ковер. И наладил ему маленькое Ватерлоо.

– Я вас выгоню в шею! В три шеи!! – потеряв остатки терпения, орал директор. – Сколько же можно срывать к чертям собачьим работу и мотать людям нервы! Когда прекратятся ваши диверсии? – Негодование его стало непереносимым, он взвизгнул и топнул ногами по паркету.

Смешливый Чижиков не удержался и хрюкнул.

– Вот-вот, – устало сказал директор и опустился в кресло. – Посмейся надо мной, старым дураком. Другой бы тебя давно выгнал.

– Петр Алексеевич... – умоляюще пробормотал Чижиков.

– Работникам выписаны командировочные, директор совхоза собирает людей в клубе, секретарь райкома обеспечивает нормальное проведение мероприятия – а Кеша Чижиков забыл договориться с автобазой об автобусе. В который раз?

– Во второй, – прошептал Чижиков, переминаясь на широкой ковровой дорожке.

– А кто перехватил внизу и выгнал делегацию, которую мы ждали?

Чижиков взмок.

– Я думал, это посторонние, – скорбно сказал он.

– Кеша, – непреклонно сказал директор, – знаешь, с меня хватит. Давай по собственному желанию, а?

Чижиков упорно рассматривал свои остроносые немодные туфли.

– А кто обругал Пальцева? – упал тяжкий довод. – Это ж надо допереть – пенсионер республиканского значения, комсомолец восемнадцатого года, с Юденичем воевал!

– Ох!..

– Не мед характер у старика, – согласился директор. – Но он же помочь тебе хотел. А ты с ним – матом. Он – жалобу, мне – замечание сверху!..

– Я ведь извинялся, – взмолился Чижиков.

– А кто выкинул картотеку отдела истории пионерского движения? Алик ее четыре года собирал!

– Ремонт был, беспорядок, вы же знаете, – безнадежно сник Чижиков. – Глафира Семеновна распорядилась убрать лишнее, показала на угол – а я не разобрался.

– Вот тебе две недели, – приняв решение и успокаиваясь окончательно, резюмировал директор. – Оглядишь, подыщи себе место, а к концу дня принесешь мне заявление об уходе.

– Петр Алексеевич, – Чижиков прижал руки к галстуку, – Петр Алексеевич, я больше не буду.

– Кеша, – ласково поинтересовался директор, – у кого на экскурсии в Петропавловке школьник свалился со стены, чудом не свернув себе шеи?

...За окном была Нева, здание Академии художеств на том берегу, почти неразличимый отсюда памятник Крузенштерну.

– Голубчик, – сказал директор. – Мне, конечно, будет без тебя не так интересно. Но я потерплю. Оставь ты, Христа-бога ради, меня и мой музей в покое.

Чижиков махнул рукой и пошел к дверям.

Исполнилось ему недавно тридцать шесть лет, был он худ, мал ростом и сутуловат. Давно привык к тому, что все называют его на «ты», к своему несерьезному имени и фамилии, которые когда-то так раздражали его, привык к вечному своему невезению, к выговорам, безденежью, к тому, что друзья забыли о нем.

Он не стал дожидаться конца дня, написал заявление, молча оставил его в отделе кадров, натянул пальтишко и вышел на улицу.

Ревели в едучем дыму «МАЗы» и «Татры» на площади Труда. Чижиков медленно брел по талому снегу бульвара Профсоюзов, курил «Аврору», вздыхал, пожимал на ходу плечами.

В «Баррикаде» он взял за двадцать пять копеек билет на новый польский фильм «Анатомия любви». Подруги жены фильм усиленно хвалили, но возвращалась жена с работы поздно, и все было никак не выбраться в кино.

Фильм Чижикову не понравился. Актрисы все были милые и долгоногие, главный герой крепколицый и совестливый, они увлеченно работали, модно одевались, жили в просторных квартирах, и какого лешего они при этом дергались и закатывали сцены, оставалось совершенно неясным.

Потом он отправился в Русский музей. На выставке современных художников увидел он замечательную картину: в тайге, на опушке, стоит маленький бревенчатый дом, струится дымок над крышей, рядом бежит прозрачный ручей, и треугольник каких-то птиц – гусей, наверное, – или лебедей? – тянется на закат. Картина Чижикову понравилась чрезвычайно. Он долго стоял перед ней, все вздыхал; ему представлялось, как хорошо было бы жить далеко в лесу, в такой избушке, топить печку, подкладывая поленья в дружелюбный огонь. Он купил бы себе двустволку и ходил на охоту, стрелял бы тетеревов на полянах, а может быть, и оленей. Зимой можно кататься на лыжах, а летом купаться в ручье, ловить рыбу, собирать ягоды и лежать в щекочущей траве, смотреть, как плывут в небе косяки птиц из знойной далекой Африки в северную тундру.

– Сколько можно говорить, что музей закрыт!

– Что?!

– Закрыт музей! – закричала смотрительница и замахала руками. – Идите, пожалуйста, на выход, русским языком вам сколько уже долдоню!

Чижиков подумал, что надо идти домой, и на душе у него стало плохо.

Стемнело уже, на тротуарах стояли грязные талые лужи, туфли у Чижикова промокли. Завернул в гастроном – продукты обычно он покупал – но какая-то усатая толстая старуха нахально влезла перед ним в очередь, продавщица наорала на него, что чек не в тот отдел, он совсем расстроился, сдал чек в кассу и ушел.

А зашел он в винный магазин на углу Герцена, выпил залпом два стакана вермута, подавляя гадкое чувство, и пешком, не торопясь, зашагал к себе на Петроградскую.

Медленно поднялся он по истертой лестнице на пятый этаж. Тихонько открыл тугую дверь. На кухне соседка Нина Александровна жарила какую-то чадающую рыбу. Она тут же зашевелила чутким носом, устала на Чижикова круглые злые глаза болонки.

– Пьяный явился, – нехорошим голосом констатировала Нина Александровна.

– Ну что вы. – Чижиков заискивающе улыбнулся, старательно вытирая ноги.

– Нарезался, милоч! – наращивала Нина Александровна. – Вот так и живешь в одной квартире с алкоголиками! Ночами, понимаешь, курит, топает в коридоре, кашляет под дверь, а днем пьет!

– Молчать!! – белогвардейски гаркнул Чижиков, меняя цвета лица, как светофор.

Глюкнула Нина Александровна, забилась в угол, тряся крашеными кудельками. Победно топая, прошествовал Чижиков к своей комнате по узкому коридору.

– Ах ты паразит! – взбеленилась Нина Александровна вслед. – Я к участковому пойду, я квартуполномоченная, я тебя выселю отсюда, пьяная морда!

– Расстреляю! – Чижиков запустил в нее резиновым сапогом и вошел в комнату.

Фамилия Нины Александровны была – Чицова, и Чижикова этот факт приводил в бешенство.

В комнате Илюшка, сынок, готовил уроки. Блестели очки в свете настольной лампы, топорщились красные уши. Остался, бедолага, во втором классе на второй год. Эх, ушастенький-очкастенький ты мой. Чижиков подошел к сыну, погладил по голове.

– Учись, сынок, учись. Перейдешь в третий класс – велосипед куплю, как обещал.

– «Орленок»?

– «Орленок».

Сын поковырял в носу. Доверчиво прижался к Чижикову.

– Пап, а когда мы переедем на новую квартиру?

– Скоро, Илюшка. Совсем уже скоро очередь подойдет – и переедем.

– Через год?

– Примерно.

– Это же так долго – год!

– Ты и не заметишь, как пройдет. – Чижиков похлопал сына по плечу. – Весна, лето, осень – и все.

– Па-ап, а мы поедем летом на юг? Только Шпаков ездил, говорит – так здорово.

– Поедем, – решил Чижиков. – Обязательно поедем.

Да, подумал он, возьмем и поедем.

– Есть хочешь? – спросил он.

– Ага.

– Сейчас я чего-нибудь нам сварганю.

Эх, а замечательно было бы пожить в той лесной избушке! И с сыном вдвоем можно...

Жена пришла только в девять часов, когда они на пару смотрели телевизор. Хлопотная работа там, на киностудии. Но она ведь бухгалтер, что ее так задерживают?

– Так, – сказала жена. – Телевизор смотрят, а посуда грязная на столе стоит.

– Ну, Эля, – примирительно забурчал Чижиков. – Сейчас я помою, ну... не волнуйся.

– Еле ноги домой приносишь, а тут грязь, опять впрягайся. Да что я вам, лошадь, что ли? Илюшка сжался и опустил глаза в пол.

– Через месяц кооперативный дом сдают, – мстительно сообщила Элеонора. – Хомяковы переезжают.

– Что ж поделывать, если у нас нет денег на кооператив? – рассудительно сказал Чижиков. – Скоро получим по городской очереди.

– Твое скоро... – тяжело сказала она. – Другие зарабатывают. На Север вербуются, на целину. Вон Танькин муж полторы тысячи привез за лето – строили что-то под Тюменью. А ты разве мужчина? Одно название...

– Ну, Элечка, – пытался Чижиков свести все вмировую. – Вот все-таки сапоги итальянские купили тебе осенью. Шуба, опять же...

Элеонора осеклась, отвела взгляд. Лицо ее пошло пятнами.

– Дурак, – с ненавистью процедила она.

– Наверное, – вздохнул Чижиков и пошел на кухню мыть посуду.

Перед сном жена вздрогнула и отстранилась, когда он приблизился; груди ее просвечивали под голубым нейлоновым пеньюаром. Чижиков безропотно поставил себе раскладушку между столом и телевизором.

Ночью долго курил в коридоре, стряхивал пепел в шербатое блюдечко. Все чудилась избушка, запах тайги, студеной быстрый ручей, клики гусей в вышине... Наваждение – аж горло перехватило, голова закружилась даже. Оперся рукой о стену, что-то округлое почувствовал, сжал машинально. Отнял руку, взглянул. Непонятный фрукт лежал в руке.

Чижиков понюхал его. Фрукт пах затхлостью и клеем. На ощупь был шершавый, как картон, и легкий. Сжал сильнее в пальцах. Фрукт слегка продавился, но соку не было. Чижиков попробовал куснуть его. Противно, опять же вроде картона.

Хм. Он всунул фрукт обратно в стену. Тот повис отдельно от грозди, черенок торчал в сторону. Чижиков пристоял его поаккуратней... Потом с интересом стал менять грозди местами. Одобрительно обозрел беспорядок в обоях – и просиял от удачной мысли.

Откинув голову и скрестив руки на груди, эдакий художник у мольберта, он прицелился взглядом в дверь Нины Александровны – и принялся за дело. Из фруктов выложил холмик с могильным крестом, грозди разломал и составил короткую малоприличную эпитафию. Оценил творческим оком свое произведение, подмигнул, покурил, посоображал кое-что. И довольный отправился спать.

Улегся он шумно, не заботясь, что визжала и дренькала хлипкая раскладушка.

На работу Чижиков с утра не пошел – все равно ведь. А припоминая, листал старые записные книжки, отыскал телефон одноклассника, ставшего сравнительно известным в городе художником, и напросился в гости.

Художник трудился на верхнем этаже старого дома по улице Черняховского. Свет проходил в стеклянный косой потолок, олифой пахло и пылью, инвентарь художнический разнообразный повсюду валялся.

– А-а!.. – встретил он Чижикова, подавая белую длиннопалую руку с блестящими ногтями. Рука настоящего художника, с уважением отметил Чижиков, пожимая ее.

– Добрый день, – дипломатично поздоровался он, не зная, на вы быть или на ты.

– Здорово, Кешка, старик, – душевно сказал художник и заулыбался. – Рад тебе, рад. Так, знаешь, приятно, когда через двадцать лет школьные друзья о себе напоминают.

– Я тоже, – сказал Чижиков, – я здорово рад, Володя, – и еще с чувством потряс руку.

– Значит, за встречу, – художник достал из скрипучего шкафчика початую бутылку коньяка, сгреб тюбики и краски с края стола, обтер стаканы длинным пальцем. Со своей седой прядкой, в черном халате, из-под которого виднелись отутюженные брюки и замшевые туфли, очень он был импозантен.

– Со свиданьем, – пропустили; художник пододвинул ему сигареты в пачке с верблюдом, щелкнул диковинной зажигалкой:

– Как живешь-то, рассказывай.

– Нормально, – сказал Чижиков. – Квартиру скоро должен получить.

– Это хорошо, – одобрил художник. – А мне вот, понимаешь, все приличную мастерскую не пробить. Бездари разные лезут вперед, а ты сиди тут в трущобе... – Он закурил головой, завздохал.

– Женат? – осведомился.

– Женат... Уж десять лет.

– Ну-у? – восхитился художник. – Молодец! И дети есть?

– Сын, – сказал Чижиков. – Во второй класс ходит.

– Молодчага! А у меня вот нет пока вроде, – хохотнул.

Чижиков заерзал.

– Так что у тебя за дело-то, выкладывай, – разрешил художник.

Не зная, как приступить, Чижиков огляделся. Подошел к мольберту. Солнце добросовестно освещало праздничными лучами уходящий вдаль сад. На переднем плане нарядная колхозница, стоя на лесенке, собирала с дерева персики.

– Гляди, – прошептал он...

И вытащил лесенку.

Дородная поселянка висела в воздухе. Лесенка постояла рядом с мольбертом и сама собой с треском упала.

– А? – торжествуя спросил Чижиков. Сорвал персик и положил на стол.

– Нет, – сказал художник, – так плохо. Мне не нравится. Тоже мне сюрреализм, ни то ни се.

Он машинально откусил персик.

– Экая дрянь! – сплюнул, поморщившись. – Синий какой-то внутри, – швырнул пакостный плод в угол. – Так и отравиться можно.

– Тебя ничего не удивляет? – опешил Чижиков.

– О чем ты? А-а... – Художник снисходительно усмехнулся. – У нас, брат, в изобразительном искусстве, – покровительственно объяснил он, – такие есть сейчас мастаки! Такие шарлатаны!.. Ты не подумай, я не о тебе, – спохватился он, – я вообще... Давай-ка еще по коньячку.

Озадаченный Чижиков выпил.

– Ты наведивайся почаще, – пригласил художник, – я тебе такого порасскажу!..

Вот так – так, размышлял Чижиков, спускаясь по лестнице. Вот ты незадача... С кем бы мне потолковать обстоятельней...

И на следующий день тем же манером отправился к Гришке Раскину, с которым они в пятом классе за одной партой сидели. Позже Гришка стал копаться в вузовских учебниках, выступать на всяких олимпиадах, очками обзавелся, времени не хватало ему всегда, и их дружба помалу иссякла.

Гришка работал в университетском НИИ физики, занимался проблемами флюоресценции и дописывал докторскую диссертацию.

Помяв Чижикова жесткими руками альпиниста – каждое лето Гришка уезжал на Памир, был даже, говорят, мастером спорта по скалолазанию, – он потащил его куда-то вверх по узким крутым лесенкам с железными перилами и вволок в маленькую комнатку.

Чижиков уселся в закутке на обычный канцелярский стул и разочарованно огляделся.

– Что, – хмыкнул Гришка, – не похоже на лабораторию физика в кино?

– Да вообще-то я иначе себе все представлял, – сознался Чижиков.

Стены каморки были выкрашены зеленой масляной краской, точь-в-точь как у них в туалете. Черный громоздкий агрегат топорщился кустами замысловатых деталей, не оставляя почти жизненного пространства. На откидном столике в углу лежала конторская книга под настольной лампой, да два стула стояли.

– Ничего, – мечтательно потянулся Гришка, – осенью в новый комплекс переберемся, там просторно будет.

Был он тощий, лохматый, в роговых очках; по внешности – классический физик, точно из кино.

– Давай свое дело. Будем разбираться. – Он кинул взгляд на часы.

К этому визиту Чижиков подготовился основательней. И внутренне, и экипировался, так сказать.

– Я тут, похоже, одну штуку случайно открыл, – произнес он, смущаясь, отрепетированную фразу. Из бумажника вынул открытку. Брильянтовая капля росы красиво лучилась на тугом хрупком лепестке лилии.

– Смотри внимательно, – попросил он. Гришка уселся поудобнее и стал внимательно смотреть.

Чижиков осторожно сунул в открытку два пальца. Хрустнул переломленный стебель. Желтая лилия мелко подрагивала в его руке. Росинка стекла в чашечку. На открытке остался размытый фон.

– За-ба-вно, – изрек Гришка. Повертел открытку, посмотрел на свет, пощупал. – За-ба-вно. Слушай, а как ты это делаешь?

– Просто, – сказал Чижиков. – Беру и делаю. Сам не знаю как. Вот так.

Он взял открытку и приладил лилию на место. Теперь не было на лепестке капли росы.

– И давно? – спросил Гришка с интересом.

– Два дня. Ночью, понимаешь, я курил в коридоре...

– Квазиполигравитационный три-эль-фита-переход в минус-эн-квадрат-плоскость, – забубнил Гришка, сведя глаза к переносице. Может, он другое что сказал, Чижиков все равно ни хрена не понял.

– Слушай, Кеш, – Гришка, косясь на часы, потербил Чижикова за рукав. – Я, ты извини, срочно должен в подвал бежать, там сейчас опыт пойдет. А тебе с этим надо в пятую лабораторию, к Аристиду Прокопьевичу, скажи – от меня. Как пройти, я объясню.

Он выдрал из конторской книги лист и начеркал китайскую головоломку, закончив ее крестиком.

– Сначала здесь, а после сюда и сюда, ясно, да? Вечером позвони мне, ты связи со мной не теряй.

Около часа Чижиков провел в движении по невообразимо заковыристой, но с неумолимостью физического закона повторяющейся траектории, пока не выпал из нее у дверей пятой лаборатории, которая временно расположилась в помещении третьей. И выяснил, что Аристид Прокопьевич вчера вылетел на месяц в Новосибирск читать лекции, но это не точно, а где точно, никто не знает. Возможно, во второй лаборатории, но это вряд ли.

Еще двадцать минут Чижиков пробирался на волю.

Устало шлепая по Менделеевской линии, поднял воротник от мелкого дождика и загрустил.

Всю пятницу он провел в раздумьях. Гришку по телефону застать не удавалось ни дома, ни на работе. И дождь все моросил.

В иероглифах записных книжек наткнулся на старый домашний адрес Сережки Бурсикова, тихого мальчонки, насморк еще у него не проходил вечно. В свое время ходил слушок, что он после школы в духовную семинарию подался.

А черт его знает, подумал Чижиков... Подумал и решил.

Остаток дня он потратил на наведение справок.

Сел в субботу вечером на поезд, отправлявшийся с Витебского вокзала, и поехал в один белорусский городок, где Бурсиков был настоятелем церкви. Жене сказал – в командировку; она, похоже, и не огорчилась ничуть.

Церковь стояла в заснеженном саду на холме, недалеко от базара. У ворот курили на лавочке двое.

Чижиков с некоторой опаской поздоровался, поклонившись слегка, даже шапку снял на всякий случай – благо тепло было – и осведомился, где может видеть настоятеля, Сергея Анатольевича Бурсикова?

– Вы по какому делу? – спросил тот, что постарше.

– По личному, – быстро ответил Чижиков. Уж Ильфа и Петрова он читал.

– Туда, – пожилой махнул на желтый флигель у ограды.

Во флигеле оказалась часовня, а в коридорчике позади – всякая канцелярия-бухгалтерия; Чижиков оробел несколько. Он никогда не был в церкви.

Отрешенные лики святых темнели с икон. Согбенная старушка протирала тряпочкой возвышение, украшенное серебряными узорами. Крупной поступью, глядя перед собой, в черной до полу рясе, проследовал высокий прямой мужчина. Старушка бесшумно засеменила к нему, поцеловала красную крепкую руку с перстнем на указательном пальце.

Воскресная служба кончилась с час, настоятеля Чижиков нашел уже переодетого.

– Я вас слушаю, – бегло сказал настоятель, не предлагая Чижикову сесть.

Выглядел он, вопреки ожиданию, заурядно и, по мнению Чижикова, неподобающе. Без бороды, выбрит был настоятель, коротко подстрижен, в стандартном дешевом костюмчике. И лицо помидором.

– Здравствуйте, Сергей Анатольевич. – Чижиков не знал, как себя вести.

– Здравствуйте. – Он явно не тянулся к разговору.

– Я Чижиков, – сказал Чижиков.

– М-да?

– Мы учились вместе...

– Э?..

– В одном классе, в школе, Кеша Чижиков, Чижик, помните?

– Оч-чень приятно. Разумеется. Слушаю вас.

Рядом люди ходили, – не располагала обстановка. Визит грозил рухнуть. Чижиков разволновался и обнаглел.

– У меня очень важное до вас дело. – Он значительно сощурился. – Необходим конфиденциальный разговор. Желательно в нерабочей... м-м... Лучше дома. Я приехал специально.

– Вы настаиваете, – недовольно отметил настоятель. – Подходите к пяти.

Он сказал адрес и взялся за пальто.

Чижиков побродил по городу. На базаре купил три кило отличной антоновки – пусть Илюшка витаминится.

Настоятель принимал его в тесной проходной зальце – гостиной, видимо.

– К вашим услугам...

Чижиков повторил номер с открыткой. Настоятель следил зорко.

– И что же? – спросил он наконец.

– Как? – растерялся Чижиков.

– Вы фокусник?

– Это не фокус, – выразительно сказал Чижиков. Ожидая вопроса, крутил бахрому ска-
терти. Настоятель неодобрительно посапывал.

– Хотите чаю? – предложил он.

– По-моему, это чудо, – застенчиво объяснил Чижиков.

– Э?.. – удивился настоятель.

– Ну ведь... Бог творит чудеса!.. – выдал Чижиков напролом и покраснел.

– Не надо, – осадил настоятель. – Не надо.

– И не в чудесах, – с неожиданной тоской добавил он, – совсем не в чудесах заключается
вера. Хотите чаю?

– Да не хочу я чаю! – обозленный Чижиков отчаялся на крайние меры.

В лепной золоченой раме святой Мартин резал пополам свой плащ. Картина напротив:
старик с изукрашенным распятием.

– «А теперь делить буду я!» – процитировал Чижиков и отобрал у доброго святого недо-
разрезанный плащ. Княжеским жестом пустил его на стол. Пристукнул увесистым золотым
распятием.

Пыльный грубый плащ пребывал на столе и пах потом. Придавливал толстые складки
тусклый крест с искрящимися камнями.

Лицо настоятеля замкнулось...

– Нельзя ли восстановить порядок? – отчужденно попросил он.

Чижиков плюнул с досады.

– Жертвую на храм, – отвечал в раздражении из прихожей.

Вечером он пил чай в поезде, грыз ванильные сухарики. Долго ворочался на верхней
боковой полке, мысль одна все мучила. Ночью он проснулся, лежал.

А мысль эта была такая:

Теперь он может уйти в свою избушку.

С утра заскочив домой положить в холодильник яблоки для Илюшки, он отправился в
Русский музей.

Стоял, стоял перед картиной. Будоражащие запахи хвойной чащи, дымка над крышей,
казалось, втягивал, припуская веки.

Сорвал незаметно травинку. Травинка как травинка, зеленая.

Смотрительница уставилась из угла. Эге, засомневался Чижиков, увидит еще кто, скан-
дала не оберешься. Начнут за ноги вытаскивать, с картиной сделают что-нибудь, а потом
выкручивайся как хочешь. Надо ночью, решил он. Спрятаться в музее, а когда все уйдут – вот
тогда и лезть.

Легко сказать – спрятаться... Придумал. Присмотрел через два зала натюрмортик с шир-
мочкой: можно отсидеться. Натюрморт скульптурой заслонен, смотрительница вяжет, носом
клюет, народу нет – подходяще... Для страховки вымерил шагами два раза расстояние до своей
картины, теперь с закрытыми глазами нашел бы.

Но сегодняшней вечер захотелось побыть дома. Напоследок, елки зеленые...

Печален и загадочен был он этот вечер. Даже жена в удивлении перестала его пилить.
Чижиков целовал часто сына в макушку, переделал все по дому и жене отвечал голосом
необычно ласковым и всепрощающим, что ее как-то смущало. Перед сном, тем не менее,
поскользнувшись на ее взгляде, улыбнулся с тихой грустью и поставил свою раскладушку.

Он явился в музей около пяти и, улучив момент, без приключений забрался в свой натюр-
морт. За ширмочкой валялся всякий хлам, он уселся поудобнее и стал ждать.

Переход он задумал осуществить в двадцать ноль-ноль. Пока все разойдутся, пока то да
се...

Время, разумеется, еле ползло. Хотелось курить, но боязно было: мало ли что...

А там... Первым делом он сядет в траву у ручья и будет курить, любясь на закат. Потом... Потом напьется воды из ручья, ополоснется, пожалуй, смывая с себя въедливую нечистоту города.

Кусты колыхнутся под ветром. Прохладно. Вот он встал и пошел к избушке. Оп! – полосатый бурундучок мелькнул в траве. Чижиков постоял, улыбаясь, и поднялся на рассыхающееся крыльцо. Вдохнул с легким счастливым волнением – и толкнул дверь.

Ширма упала. Чижиков вскочил, проснувшись. Без двенадцати минут восемь. Он подрагивал от нетерпения.

Первый шаг его в темном зале был оглушителен. Он заскользил на цыпочках. Шорох раскатывался по анфиладе.

Так... Еще... Здесь!..

Темнел прямоугольник его картины. Скорей взялся потными руками за раму.

Задержав дыхание, закрыв глаза и нагнув, как ныряют, голову – влез.

Что-то как-то...

Осознал: крик. И – предчувствие резануло.

«Не то! – ошибка! – сменили!» – ослепительно залихорадило.

Оскользясь в грязи на пологом склоне, раздираясь нутряным «Ыр-ра!!», зажав винтовки с примкнутыми штыками, перегоняли друг друга, и красный флаг махался в выстрелах внизу у фольварка.

– Чего лег?! – рвась на хрип.

Ощущение. Понял: пинок.

– Оружие где, сука?!.. – давясь, проклекотал кадыкастый, в рваной фуражке.

Обмирая в спазмах, Чижиков хватанул воздух.

– Из пополнения, што ль?

– Да, – не сам сказал Чижиков.

– Винтовку возьми! – ткнул штыком к скорченной фигуре у лужи. – Вишь – убило! И подсумок!

Чижиков на четвереньках ухватил винтовку, рукой стер грязь.

– Встань! В мать! Телихенция... Впер-ред!

Чижиков неловко и старательно, довольно быстро побежал по склону, подставляя ноги под падающее туловище. Кадыкастый плюхал рядом, щерясь, косил на него.

Передние подсыпали к зелени и черепицам окраины, там правее дробно-ритмично затакало, фигурки втерлись в пашню.

– Ах твою в бога!.. – рядом, упав, проскреб щетину. – Конница в балке у них...

Чижиков увидел: слева в километре выскакивают по несколько, текут из земли всадники, растягивая в ширину, стремятся к ним.

– Фланг, фланг загинай!.. – отчаянно пропел сосед, пихнул, вскочив, Чижикова, они побежали и еще за ними. Слева перебежали, ложились, выгибая цепь подковой.

Упали, дыша.

Выставили стволы.

Раздерганная пальба.

Прочеркивая и колотя глинозем, оцепеняя сознание всепроникающим визгом, завораживая режущим посверком клинков на отлете, рвала короткое пространство конница.

– Стреляй, твою! – оскалась, сосед вбил затвор.

Как он, Чижиков внимательно передернул со стальным щелком затвор. Локти податливо ползли из упора.

«...Выход – где – запомнить – не найду – как же...» – прострочило в мозгу и не стало, потому что он принял целящийся взгляд поверх конской морды, пеганый в галопе чуть вбок

зanosил задние ноги, казак привставал на стременах, неверная мушка поддела нарастающий крест ремней на холщовой рубахе...

Всхлипывая горлом, напряженно тараща заслезившийся глаз, потянул спуск и невольно зажмурился при ударе выстрела.

Транспортировка

В комнате накурено. Стены в книжных стеллажах. За пишущей машинкой сидит 1-й соавтор. Настольная лампа освещает его мясистое лицо и короткопалые руки. 2-й соавтор расхаживает по ковру, жестикулируя чашкой кофе. Он постарше, лет пятидесяти, худ, выражение лица желчное.

1-й соавтор (*обреченно*). Как всегда... Через неделю истекает последний срок договора, а у нас – конь не валялся...

2-й соавтор (*деловито*). Нужна конкретная зацепка для начала...

1-й соавтор. Это пожалуйста. М-м... Человека раздражает постоянная толкотня перед его домом. Он живет на одной из центральных улиц, рядом с универмагом, и мимо подъезда всегда снует толпа народа.

2-й соавтор. А в самом подъезде занимаются спекуляцией... Ладно, не отвлекаемся... И вот – человек постепенно начинает замечать, что народу перед его подъездом становится все меньше...

1-й. Так. Как его зовут? Имя для условной страны...

2-й (*листает телефонную книгу, морищит лоб, швыряет на диван*). Что-нибудь двусложное. Тарара-бух... В детстве я думал, что «Три мушкетера» – это «Тримушки Тёра». Какие-то тримушки некоего Тёра. Тримушки... Тримушки-Бух...

1-й. Тримушки-Бабах... Тримушки-Бабай... Тримушки-Бай... Тримушки-Дон...

2-й. Тримушки-Тон... Тримушки-Бит... Тримушки-Тринк...

1-й. Тримушки-Дринк. Джонни уыпьем уодки.

2-й. Тримушки-Трай...

1-й. Максим Трай. Путешествие на планету Транай. Драй трамвай.

2-й. И черт с ним.

1-й. И черт с ним. Нарекли. Пущай Тримушки-Трай.

2-й. Портрет.

1-й. Упитанный блондин, рост выше среднего, возможны очки.

2-й. Очки у нас недавно уже были. Ни к чему. Даешь снайперов. Нет, очков не надо. Полноценный человек. Довольно ущербности. Жена, двое детей, дома и на работе никаких неприятностей, и никаких авиационных и прочих катастроф. И никаких инопланетян и рецептов из старинных книг.

1-й. Прах и пепел! Помилосердствуй! Тут можно написать только характеристику для ЖЭКа и некролог!

2-й. Тихо! Тихо. Без штампов. Ему... мм... мм... тридцать три... нет, намек на Христа... тридцать пять, многовато... тридцать два года. О. Расцвет сил.

1-й. Уж вы мои силушки... Гуманитар. Психолог. Нет, к дьяволу психоанализы, нормальный так нормальный. Значит – не молодой профессор. Во: средний уровень. Учитель. Школьный учитель. Литературы.

2-й. Осточертели всем твои учителя литературы. Ну прямо сговор: или литературы, или математики, или физики. Ботаник он! Географ! Чертежник!

1-й. Ага. А также дворник, шорник и по совместительству завхоз, который не ворует. Не будь свиньей – я тебе уступил космос, катастрофы и чудеса – уступи мне литературу, это справедливо.

2-й (*делает останавливающий жест, ставит чашку на торшер, закуривает, сосредотачивается*). Итак, Тримушки-Траю тридцать два года. Он работает учителем литературы в школе. Зарплаты хватает, жена и двое детей, семью любит. Квартира в приличном квартале.

Единственный источник раздражения – толкотня перед домом. А коль раздражает лишь это – ясно, что жизнь у него тип-топ.

1-й. И о карьере сей сеятель разумного, доброго, а также вечного за умеренную зарплату не мечтает. Но – он не маленький человек, нет. У него даже были предложения, да и сейчас он имеет возможность перейти преподавать в университет... э-э... или в издательство... но – он любит свою работу, вот в чем дело... Именно в ней видит смысл. Начальство его ценит, коллеги уважают, ученики любят и даже стараются подражать ему в некоторых привычках.

2-й. И пусть хоть один м-мэрзавец посмеет заявить, что это не фантастика. Да. Причем он ловит себя на том, что с каждым годом ученики его становятся все толковее. Работать с такими – сущее удовольствие. Они много способней тех тупиц, в среднем, чем были в их возрасте большинство его сверстников.

1-й. Детали!

2-й. Выше среднего роста, румяный, очень густые русые волосы зачесывает назад. По вечерам все семейство сидит в гостиной, он тут же проверяет сочинения, двухлетний сын, его копия, возится у него на коленях. Дочке семь лет, любит убирать со стола, изображая хозяйку, часто бьет посуду, что никого не огорчает, кроме нее самой. Квартира стандартная, обстановка стандартная, стулья и диван слегка изодраны котом, непородистым и некастрированным. На лето уезжают к морю, кота оставляют соседям. Кот серый, с белым животом и кончиками лап и черным носом.

1-й. Кот получился... Носит обычно синий костюм, то есть Тримушки-Трай, естественно, а не кот, сорочки голубые или желтые, галстук повязан узким тугим узлом. Всегда на месте за пять минут до назначенного срока. В школе просторные классы, окна во всю стену, учебные стереовизоры, широкие лестницы из искусственного мрамора, стены со звукопоглощающим покрытием, зелень во дворе и прочее подобающее.

2-й. Ну и серый асфальт и мутное небо города, шелест шин, запах бензина, вой подземки и ее заплыванные перроны, огни реклам, рестораны и мусорщики, парки, уголовная хроника...

1-й. Мусорщиков нет – машины. Мусорщики исчезли лет десять назад.

2-й. Уголовной хроники тоже уже практически нет. Примерно в то же время она резко пошла на убыль.

1-й. Десять лет назад произошли некоторые изменения в сенатской комиссии...

2-й. Десять лет назад Тримушки-Трай был полон страха перед неизвестностью. Студентом он принимал участие в студенческих волнениях и демонстрациях. Студенты требовали снижения платы за обучение, отмены воинской повинности и права на труд. На плече Тримушки-Трая остался шрам от полицейской дубинки.

1-й. Дубинка, однако, не сабля. Ладно. Короче, в стране было скверно. Безработица. Кризис. Нехватка топлива, сырья, жилья и чего угодно. Цены росли, зарплаты падали, законы ужесточались, гангстеризм процветал...

2-й. И странно, что они вообще не вымерли...

1-й. В общем, да. Отвали.

2-й. Вперед. *(Выходит в туалет.)*

1-й стучит на машинке. Суть абзаца сводится к тому, что по окончании университета по курсу английской (под вопросом) филологии Тримушки-Трай зарегистрировался на бирже безработных и перебивался полгода на пособие, мел улицы изношенными джинсами и простужался, ночуя на парковых скамейках.

2-й *(входя и заглядывая через его плечо).* Но через полгода ему повезло. Он получил место учителя в специализированной школе. Будучи способным и образованным специалистом, успешно выдержал тесты и прошел по конкурсу – тем более что конкурсы уменьшились,

очередь на бирже начала рассасываться и вообще страна понемногу стала оправляться от кризиса.

1-й. Править придет-ся-а... Переписывать заново.

2-й. Ладно. Вперед. Все отлично. Сейчас Тримушки-Трай не только доволен своим положением. Он доволен правительством – это важнее. За прошедшие десять лет в стране налажилось процветание. В Декларацию прав внесены поправки. Президент переизбран на третий срок. Массы довольны – изобилие. Интеллектуалы довольны – есть применение их мозгам, средства для научных исследований. Демократы довольны – есть полная свобода всяческих волеизъявлений и предпринимательств.

1-й. Хотя последнее – вранье, но об этом Тримушки-Трай может судить только по газетам, правда, зная цену ихним газетам.

Но – все здорово. Вроде, Тримушки-Трая даже на тротуаре перед его домом толкать перестали. В один прекрасный день он обращает на это внимание. Его ни разу не толкнули, когда после работы в час пик он возвращался домой. Он даже удивился. Подумал, что универсальный магазин сегодня не работает. Посмотрел – нет, открыт, правда народу немного. Тримушки-Трай хмыкнул, свернул в свой подъезд и вошел в лифт.

На обед жена подала его любимый бефстроганов с жареным картофелем, спаржу и яблочный пудинг. Отдыхая в кресле с коктейлем, Тримушки-Трай поделился с женой своим наблюдением. Не отрываясь от вязания, жена ответила, что пару недель назад тоже обратила на это внимание, только, скорей всего, они просто привыкли к этому району. Не так уж, в сущности, много людей в пресловутом Большом городе.

Но в воскресенье Тримушки-Трай в своем открытии решительно утвердился. Они отправились гулять с детьми в Центральный Парк. Очереди на карусели не было. Редкие прохожие фланировали по аллеям или отдыхали в тени на скамейках. И почти никто не кормил ручных белок – а когда-то вокруг каждой, спустившейся на землю, собиралась толпа.

У Тримушки-Трая возникло нехорошее сосущее ощущение. Он посмотрел на жену; они поняли друг друга.

2-й. Тем большим событием в спокойной доселе жизни Тримушки-Трая явилась беседа с контрразведчиком Департамента лояльности. В понедельник после уроков директор пригласил его в кабинет и оставил их вдвоем. Изящный молодой человек с интеллигентным лицом повернул в дверях ключ и предъявил Тримушки-Траю удостоверение. Тримушки-Трай удивился и слегка испугался, честно говоря. Он закурил, подумал, спохватился и предложил сигарету контрразведчику. Контрразведчик не курил. Контрразведчик предложил рассказать о себе.

– Так, наверно, в моем досье все указано, – простодушно сказал Тримушки-Трай и порозвел, ощутив свои слова бестактными.

Контрразведчик улыбнулся непринужденно и поощрительно.

– Вы не волнуйтесь, – успокоил он. – Вы лояльный гражданин, и вы, разумеется, понимаете, что в нашей работе, как и в любой другой, имеются свои особенности... если хотите, мы условимся считать этот разговор дружеской беседой без каких бы то ни было последствий. Устроит?

Растерянный, но и успокоенный, Тримушки-Трай изложил недолгую биографию. Контрразведчик в паузах одобрительно кивал. Он был определенно ненавязчив и обаятелен: Тримушки-Трай раскрепостился и поглядывал на него с симпатией.

Контрразведчик перевел разговор на преподавание литературы.

– Вы, мне известно, разработали собственную систему тестов для выяснения интересов ученика и уровня его гуманитарной пригодности, если так можно выразиться? Простите, я не специалист...

Польщенный Тримушки-Трай махнул рукой:

– Ну, уж и целая система... У каждого учителя свои приемы выяснения, кто чем дышит. В зависимости от этого и строишь работу.

Через сорок минут они расстались друзьями – по крайней мере, Тримушки-Трай так чувствовал.

– Во вторник, в десять утра, позвоните, пожалуйста, по этому телефону. В школе вас подменят. Рабочие часы будут оплачены. Мужской уговор: вся беседа должна остаться между нами. Согласны?

Тримушки-Трай пожал протянутую руку с искренним дружелюбием, какое возникло бы, вероятно, у кролика, снискавшего уважение травоядного удава.

1-й. Поскольку все в природе устроено по принципу взаимодополняемости, то жены простодушных людей, как правило, проницательны; и жена Тримушки-Трая отнюдь не составляла исключения. Из вида и поведения мужа нынешним вечером следовало, что нечто произошло и что это нечто он не намерен подвергать обсуждению. А посему была придумана печаль, претензии, ссора, примирение с коньяком и любовью, и будь Тримушки-Трай реалистом настолько, насколько он сам себя воображал, он понял бы, что в лице его жены Департамент лояльности прохлопал работника с большими данными. Ибо он выложил все, пребывая в уверенности, что делает это абсолютно добровольно, и легкая дрожь нарушителя государственной тайны щеко-тала его.

– Тебе хотят предложить работу, – заключила она.

– Мне? Они? Какую же? – чистосердечно удивился Тримушки-Трай.

– Как сказать... Но они поняли, что ты способен на большее.

Жены маленьких людей часто честолюбивы за двоих, если не за все семейство. Самое обидное, что они сплошь и рядом бывают правы в своих анализах обстановки, а вынужденность смиряться с тупостью и вялостью суженых ведет их к презрению – если только любовь не оказывается выше обоснованных амбиций. Но Тримушки-Траю везло и здесь – жена любила его. Так что сейчас она просто желала подпихнуть главу семейства в нужном, по ее мнению, направлении, как жука булавкой.

– И ты примешь предложение, – констатировала она.

Сам генерал Джексон Каменная Стена не сумел бы высказать эту формулу тоном более категорическим.

Под напором превосходящей воли Тримушки-Трай принял единственно разумное в подобных ситуациях решение: сделать по-своему, а после отовратиться.

Но – он знал свою жену хорошо. И – любил ее. Из чего следует, что к десяти утра во вторник он не мог бы ответить, кого боится в сложившихся обстоятельствах больше – жены или Департамента лояльности.

2-й. Он позвонил и назвал. Ответили, что пропуск приготовят к одиннадцати часам. На проходной у дежурного. Назвали адрес.

Дежурный был здоровенный мужик с борцовской шеей. Он изучил паспорт Тримушки-Трая и кивнул на окошечко – бюро пропусков. В окошечке пожилая женщина в военной форме выписала пропуск, оторвала от корешка и протянула. Дежурный еще раз изучил – теперь уже пропуск – и кивнул на лифт: «Четвертый этаж».

Тримушки-Трай помедлил, вдохнул-выдохнул перед дверью с нужным ему номером – 407. Часы в конце коридора сипло отзвонили четыре четверти и ударили раз за разом. Тримушки-Трай расправил плечи и постучал.

Дверь распахнулась сама. В просторном затененном кабинете за огромным полированным столом сидел человек в клетчатом пиджаке.

– Прошу вас, – сказал он будничным, чиновничьим голосом.

Тримушки-Трай вошел. Дверь закрылась.

– Садитесь, – чиновник кивнул на глубокое кресло.

Тримушки-Трай сел, утонув в кресле так, что голова его торчала на уровне стола, и это сразу создало ощущение неловкости и зависимости.

Чиновник извлек из ящика стола аккуратную папку и принялся листать. Тримушки-Трай, полагая в папке свое досье, немало готов был отдать за удовлетворение естественного интереса заглянуть туда.

1-й. Да, надо добавить, что в воскресенье вечером Тримушки-Трай позвонил нескольким университетским приятелям. Кого застал – потрепался на житейские темы, пытаюсь незаметно переводить разговор в то русло, что в городе стало, вроде, ха-ха, посвободнее. Разговоры сии развития не получили. Возникло неопределенное чувство неудобства, заминки, собеседники соглашались... а черт его знает, может, это просто кажется. То есть понятно, что просто кажется, но... нет, не клеились разговоры. А часть однокашников по старым телефонам не значилась, и телефонные станции разыскать их не сумели. Что ж, поразъехались, дело обычное...

2-й. В жизни Тримушки-Трая наступил самый трудный момент.

1-й. И в нашей повести тоже.

Курят в молчании. Чиновник продолжает листать досье.

2-й. Нет, собственно... Если человек попадает в систему, раньше или позже он все равно узнает об общем положении тех дел, которыми его система занимается. А без людей не обойтись... А берут всегда людей проверенных... и всегда есть средства, которыми можно держать их в узде... В некий день и час Тримушки-Трай, работая на предназначенном ему месте, осознает истину... поэтому оптимальным вариантом представляется сразу выдать ему информацию и проследить реакции... тем паче что система ничем ведь не рискует и в случае его отказа. Суют его на должность не рядового исполнителя, а, как ни крути, своего рода творческого деятеля. Потом – предлагают же не первому попавшемуся, он подходит по всем данным.

Нет – это логично. Тримушки-Трай должен узнать все. Такова логика системы. Ею и будет сейчас руководствоваться чиновник.

1-й. По-твоему, идет?..

2-й. Смотри сам.

Тримушки-Трай скованно сидит в глубоком кресле, и румяным его сейчас назвать трудно.

1-й. Веселенький разговор ему предстоит.

2-й. Ладно. Вперед.

Чиновник поднимает глаза от папки. Глаза у него с желтоватыми в прожилках белками, карие зрачки покрыты голубоватой мутной пленкой.

Чиновник. Простите? Вы инспекция из нулевого отдела?

1-й. Что-оо?

2-й. Нам время исчезнуть.

Хватает 1-го за руку и тащит к двери. Чиновник нажимает ногой под столом кнопку звонка. Два охранника вырастают из дверей.

Чиновник. Почему вошли эти господа?

Охранники изображают позами верноподданность и непричастность.

Потрудитесь объяснить, как вы сюда проникли!

1-й (*восхищенно*). Паршивец, а! Ты, однако, не зарывайся, а то ведь я щас опохмелюсь – и тебя не будет!

2-й (*свистящим шепотом*). Заткнись, кретин, идиот!.. (*Ударяет его локтем в живот. Чиновнику.*) Это типичное недоразумение. Прискорбный казус!.. Видите ли, мы – писатели... (*Теряется, не зная, как вразумительно приступить к объяснению.*)

Чиновник (*с понимающим лицом*). Писатели. Журналисты?

2-й. Ну да, почти...

Чиновник. Удостоверения, пропуска?

1-й. О скот!

Чиновник. Сдать надзору четвертого. Обыскать и изъять по описи. Идентифицировать. Оставить за мной. Подать объяснительные по команде.

Охранники, каждый правой рукой сворачивая левое запястье соавторов, выдворяют их, и дверь закрывается; слышны удаляющиеся по коридору шаги и вопль 1-го соавтора: «Да мать твою!..», переходящий в сдавленное мычание.

Чиновник (*вздыхая, Тримушки-Траю*). И вот из-за такого ЧП порой летит насмарку вся служба. Как прикажете работать в таких условиях? (*Достаёт из стола пачку сигарет, предлагает Тримушки-Траю, закуривает сам. Доверительно.*) А у меня кардиограмма ухудшилась. Курение противопоказано. Поди брось тут... Держу вот на службе пачку...

Переходит в одно из двух кресел в углу, рядом с журнальным столиком, жестом предлагая Тримушки-Траю занять второе; в стене, отделанной панелью под дуб, открывает маленький бар, разливает по бокалам коньяк и развлекает из сифона.

Ну-с, почувствуйте себя непринужденнее. Мы с вами почти коллеги, кончали один университет, правда, я на девять лет раньше. Социолог. Филолог, социолог, – родственные души. Так вот, не скрою от вас, что хотя видимся мы и впервые, но (*кивок на стол, где осталась пачка*) кое-что, и даже немало, мне о вас известно, – вы понимаете, просто такая у нас работа, как у каждого своя работа, все это обычно, нормально, да – и как ваши взгляды, так и сами вы лично мне глубоко симпатичны. Глубоко! Не сочтите за грубую лесть. Льстить мне вам, как вы понимаете, незачем. Дело в другом. И не в вашем личном обаянии, хотя оно незаурядно. Поверьте.

Так вот. Вы человек с искренними убеждениями. И придерживаетесь своих убеждений даже вопреки материальной выгоде, карьере, известности. Именно так, не надо возражать! Вы получаете предложения от университетов – и отклоняете их. А это как-никак профессорский оклад и перспективы для научной работы. Издательство на должность, которую предоставляло вам, берет человека менее подходящего, а платит ему вдвое больше, чем получаете вы. Что же вас останавливает? Не стесняйтесь, голубчик, люди, как известно, вечно стыдятся вовсе не того, чего следовало бы.

Я сам отвечу вам. В нашем достаточно бессмысленном мире вы занимались, простите, занимаетесь одним из немногих дел, имеющих смысл: вы учите детей. Причем не абстрактной математике – литературе. Вы воспитывали из них, по мере своих сил, людей – в подлинном смысле этого слова. Вы учили их внутренней честности и порядочности, учили понимать и чувствовать прекрасное, быть терпимыми, мыслить самостоятельно и поступать благородно – пусть даже в ущерб материальной выгоде и карьере...

А сами, отклоняя предложения и приглашения, рассуждали примерно так: «Материально я выиграю немного. Того, что я имею, мне хватает. Как-то сложится все на новом месте? Я

иду утром на работу без отвращения. Какого еще черта человеку надо?». Вы, голубчик, как всякий закоренелый идеалист, считали себя последовательным реалистом. Идеалист, заметьте, в хорошем, в высоком смысле слова.

Таких людей весьма, голубчик, и весьма мало. И мы таких ценим на вес золота. «Мы» – я подразумеваю государственный аппарат. Ибо именно такие люди, вкладывающие душу в свое дело, не просто добросовестные и способные, нет, талантливые и преданные своему делу, жизненно необходимому стране и народу, я говорю – не государству, заметьте, государство – аппарат, пшик, каркас для скульптуры, корабль для команды, – такие люди служат тем же целям, которым служит или, во всяком случае, обязано служить государство – оставим высокие слова нашим ораторам, – служить тому, чтоб люди были людьми и жили по-человечески. (*Допивает бокал, ставит, вздыхает, машет рукой и закуривает еще сигарету.*)

Дорогой мой, единственная задача государства – чтобы люди жили по-человечески. Но чего это стоит, боже мой, чего же это стоит!.. Вы помните, что творилось еще десять лет назад? Безработица, бандитизм, нищета!.. Наркоманы, экстремисты, забастовки, демонстрации – отчаявшиеся люди требуют того, на что имеют право по одному уже рождению! У кого? У так называемых «правителей»... А что могут эти «правители»? Ну что они могут, я вас спрашиваю? Рабочих мест не хватает, энергии не хватает, сырья не хватает, валюты не хватает, квартир и больниц не хватает, и все увязано одно с другим! не пошевелить... Ну, какой вы, вот вы можете предложить выход? А? Да не бойтесь вы, господа, говорите, это откровенный разговор, вам ничего не грозит. Ну что: социальные перемены, революция, национализация, обобществление?

Тримушки-Трай (*нерешительно*). Допустим...

Чиновник. Допускаю! Хорошо! Первое: все собственники, владельцы средств производства автоматически становятся в ряды безработных. Чудно! Анархия в производстве, это второе. Резкий экономический кризис – три. Четыре – недовольны не только экспроприированные, но и потребители их продукта – продукт на время исчезает, а потребляют все. Подходит? Нет. Оставить их на местах с правами наемных менеджеров? Но что это даст? Деньги все равно в банках, недвижимое все равно в государстве. А угроза гражданской войны? А забастовки всех, всех частных предпринимателей? Военное положение, газовые гранаты, национальная гвардия – в ход, что ли? Зачем? чтоб вернуться к разбитому корыту? Нет, голубчик, экономист вы слабый. Ну, следующий способ?

Тримушки-Трай. Гм... Меньше потреблять... отказаться от ненужного в быту. Высвободится энергия, сырье, средства.

Чиновник. Прежде всего высвободятся рабочие руки, и государству придется кормить еще мириады безработных и их семьи. Резко нарушится оборот средств – люди будут меньше покупать. Вы призываете фактически к удешевлению рабочей силы – это антиисторично и антинаучно, я не говорю уж о гуманистическом аспекте. За тот же труд люди будут иметь меньше благ – это забастовки. Мы не получим высвобожденных средств на подъем экономики – мы прежде всего потеряем мощности и средства, разрушим государственный бюджет, не сведем концов с концами. Нет?

Тримушки-Трай. А временно... равномерно уменьшить производительность труда?

Чиновник (*ласково и устало, словно ребенку*). Ну, сможем занять всех. Что имеем – поделим на всех. А чего не имеем – откуда возьмем? А нехватку во всем – ее тоже на всех поделим? Экономика-то тютю у нас... И подъема ее так не достичь никогда – наоборот, угробим навеки. Стать луддитами ратуете, что ли?.. Полная наивность...

Тримушки-Трай (*отрекаясь от своих проектов*). Да. Разумеется. Государство сделало колоссальное дело. Мне не надо это доказывать. Я голосую на выборах.

Чиновник. Доказывать, к прискорбию, приходится даже неоспоримые истины. Да – государство сделало. Мы сделали. Я вот, скромный, как говорится, винтик машины, вылечу

завтра с инфарктом – через час заменят, но я говорю – мы. И – мы с вами, лично с вами – вместе.

Кстати – вы не могли не отметить, что ученики ваших последних лет толковее предыдущих, а?

Тримушки-Трай. Д-да... У меня есть такое... не впечатление, нет, они действительно более развиты и интеллектуальны.

Чиновник. Бесспорно. И все, или почти все они должны бы получить высшее образование и работать мозгами, а?

Тримушки-Трай. Я думаю так же.

Чиновник. Будьте уверены, так и произойдет. Они достойные ребята, и государство о них позаботится. (*Понижая голос.*) И вы тоже, сами, лично вы тоже должны о них позаботиться.

Тримушки-Трай (*понимая, что встреча подходит к тому, ради чего затеяна*). Я думаю так же.

Чиновник (*прикасаясь к его руке, сердечно*). Вы не могли ответить иначе. Поэтому мы и пригласили именно вас. Вас!..

Тримушки-Трай. Я должен что-либо делать?

Чиновник. Только то, что велит вам ваша совесть. А ваша совесть не может не велеть вам приносить максимальную пользу людям.

Тримушки-Трай. Как бы... Разумеется...

Чиновник. Открою вам секрет. Первый из секретов, который я вам открою. Да не пугайтесь, голубчик, неужели вы думаете, что я вас в стукачи вербую!.. Полноте.

Так вот. Мы несколько расторопнее и, смею надеяться, разумнее вашего Департамента обучения. Потому что уже год применяем ваши тесты. И при полном уважении к вам как к филологу и преподавателю сочту долгом присовокупить, что ваши способности психолога много и ценнее, и качественнее... я не нахожу подходящих слов, грубо льстить не хочу... но мы, как естественно предположить, используем сливки мировых достижений.

Тримушки-Трай. Я должен буду уйти из школы?

Чиновник. Повторяю, вы должны будете делать только то, что повелит вам ваша совесть. Но мы были бы счастливы, – открываю карты сразу, – мы очень заинтересованы заполучить вас к себе. Транспорт и коттедж государственный, все льготы сотрудника нашего департамента, пенсионный возраст на пять лет ниже общего. Оклад – двадцать пять двести в год; четверть президентского и вдвое выше среднего. Дело – психология. Разработка, проверка и внедрение тестовых систем для социальной и профессиональной дифференциации. Будучи сам по образованию социологом, искренне заверяю, на основании полного комплекса данных вашей собственной биографии, что вы именно тот человек, какие нам крайне, подчеркиваю – крайне, видите, я ничего не скрываю от вас, – требуются.

Тримушки-Трай. Когда ответ?

Чиновник. Не торопитесь. Обдумайте спокойно. (*Снова наполняет бокалы.*) Вы ведь согласны, что долг каждого – максимально использовать свои способности на благо своего народа и всего человечества?

Тримушки-Трай. Безусловно.

Чиновник. Значит, в принципе вы уже согласны. О нет, я на вас не давлю, упаси бог! Еще один момент: а как быть с преступником, которого невозможно перевоспитать? садистом? Ваше мнение?

Тримушки-Трай (*с непониманием*). Изолировать?..

Чиновник. И пусть порядочные люди его кормят, одевают, сторожат?

Тримушки-Трай. Он должен трудиться. Принудительно.

Чиновник. Обречь на рабство?

Тримушки-Трай. Воспитание личности созидательным трудом...

Чиновник. Ага. Закатать лет на сорок каторги – и покойник осознает ошибки. Нет, вы определенно большой гуманист.

Тримушки-Трай. Я не совсем понимаю... Но смертная казнь у нас запрещена законом...

Чиновник. Вы соображаете: куда я гну? Хорошо. Еще вопрос: вы согласны, что назначение человека – не есть, пить, гадить, спать, развлекаться, а в первую очередь – оставить свой созидательный след на земле?

Тримушки-Трай. Разумеется...

Чиновник. Не осудите, что с вами, образованным и талантливым человеком, я разговариваю прописными истинами. Они, знаете, так привычны, что по привычке опускаются, исчезают при рассуждениях.

Продолжаю: следовательно, долг каждого человека и гражданина не только созидать самому, но и всячески способствовать, чтоб так же жили другие, все?

Тримушки-Трай. Так.

Чиновник. Так. Именно так. И если наркоман, сексуальный маньяк, киллер мафии, подонок потенциально способен построить прекрасное здание, или насадить благоухающий сад, или проложить дорогу через пустыню, – то наш долг реализовать эти его возможности на благо ему и нам?

Тримушки-Трай. Ну. Так. Конечно.

Чиновник. Конечно. Вы слышали о теории Кайми-Отта?

Тримушки-Трай. Нет.

Чиновник. А о Ван-Гоге, Шелли, Галуа вы слышали? Не обижайтесь... А знаете пословицу: «Избранники богов умирают рано»? Задумывались, конечно, – филолог – о тридцати годах, и тридцати шести-семи, и сорока – сорока двух? Масса примеров, да?

Ах, голубчик, все в слова играем. Человек приходит, чтобы уйти, и чем больше оставляет, тем меньше остается его собственного материального существования.

Легенды не лгут, голубчик. Сущность теории Кайми-Отта к тому и сводится. Я имею в виду легенды и сказки о превращениях. Дракон в принца и наоборот, глина в человека и наоборот... и важно тут, заметьте, не заколдовать, а расколдовать. В этом отличие злых волшебников от добрых. Из уродливой оболочки извлечь прекрасную истинную сущность. Уродливо же то, что не соответствует тысячелетиями сложившимся представлениям о добре, пользе, красоте, справедливости. Разве не гуманно превратить уродливого садиста в то, чем он был предназначен стать на земле: в цветущий сад?

Тримушки-Трай (*поддаваясь его тону*). Да, да... если бы это было возможно...

Чиновник. И важно не ошибиться. Как важно не ошибиться, вы понимаете! Не использовать государственную печать для колки орехов. Не пускать броневую сталь на кастрюли, красное дерево на туалетную бумагу!

Тримушки-Трай. Да, да...

Чиновник. Вот в этом и будет заключаться ваша задача. Гуманнейшая, я бы сказал, задача.

Тримушки-Трай (*с недоумением, еще исключаящим догадку; как проснувшийся человек*). Что?

Чиновник. Мы говорили с вами о кризисе, который пережила страна. О практической невозможности преодолеть его обычными средствами. О назначении человека. И обнаружили единство взглядов, не так ли?

Тримушки-Трай. Т-так...

Чиновник. Даже в экстазе наслаждения мы сокращаем наш век и приближаемся к смерти. Нельзя одновременно получать удовольствие от вкуса пирожка и его вида. Это я к

тому, что (*резко перегнувшись через стол, глядя в глаза, жестко*) население наше несколько уменьшилось, вы обратили внимание, не правда ли?

Тримушки-Трай (*как бы в гипнотическом внушении машинально кивает*). Д-да... (*С выражением появляющегося ужаса.*) И... что же?..

Чиновник. Полноте, голубчик. Я с вами совершенно откровенен. Не притворяйтесь же и вы таким непонятливым. В сущности, раз уж вы побаиваетесь и стесняетесь себя самого, открою вам: не так уж это вас и волнует.

Тримушки-Трай. Вы хотите...

Чиновник. Помилуйте. Избавьте меня от формулы: «Вы хотите сказать этим, что... Боже мой! Этого не может быть!..» Будьте честнее. Интеллигент не должен быть фарисеем.

Тримушки-Трай. Я слушаю вас...

Чиновник (*наполняет его бокал коньяком, на сей раз не разбавляя*). Выпейте! Да! Мы – мы! – взяли на себя тягчайший груз ответственности! На себя! (*Нервно, с болью.*) Чтоб спасти всех... Достойных... Чтоб вы не подошли на помойке, а ваши ученики не выросли скотами. А ваши дети появились на свет... (*Закуривает. Доверительно.*) Наш отдел самый вредный из всех. Нервов, нервов... А платят столько же.

И перестаньте, я вас умоляю, делать лицо Христа, которому предлагают за три десятки избавиться в профилактических целях от Иуды. Вам это не идет.

Тримушки-Трай. Вы поймете меня... и извините... я отказываюсь.

Чиновник. И прежде чем петух пропоет, трижды... Слушайте, я перестану вас уважать, честное слово. Ну давайте рассудим трезво:

Первое. Подавляющее большинство людей у нас счастливо. Работа по душе, достаток, покой.

Второе. Счастливы не баловни судьбы, не жизнедеятельные приспособленцы, а – лучшие головы, порядочные, терпимые к ближним.

Третье. Преступности нет. То есть порядочные люди не рискуют погибнуть ни за понюх табаку, а другие порядочные люди не тратят жизнь на борьбу с мерзавцами.

Четвертое. Перенаселенности нет – даже вас никто не толкает на вашем тротуаре, верно?

Пятое. Сырьевой кризис, энергетический, нехватка средств на медицину, обучение – все это ликвидировано; царит экономическое процветание.

Шестое. Никчемные люди, отбросы породы гомо сапиенс, недостойные вообще дышать – воплотились непосредственно в материальные ценности. Без пота, заметьте, без унижений, без жестокостей и страданий – гарантирую вам. Да это честь для них!

Чего же вы еще можете желать?

Тримушки-Трай. Фашизм!..

Чиновник. Не низводите себя до обывателя. Эта мания – наклеить ярлык и успокоиться...

Тримушки-Трай. Кто осмелится присвоить право!..

Чиновник (*саркастически, быстро*). Право спасти вас, заблудших баранов? А кто дал вам право получать свою капусту?

Тримушки-Трай. Люди, их судьбы...

Чиновник (*поспешно перебивает*). Типичная ошибка, порочное заблуждение. Кто поведал вам, что такое – люди? Правомерно ли упорствовать в ереси, что мерзкий, преступный, жалкий, отталкивающий, гадкий человек – это истинная сущность материи, а хрустальный купол здания – не истинная? Вы ошибаетесь, и ошибаетесь наивно, Тримушки-Трай. Человек, ставший паровым катком, всегда был паровым катком. Всегда. Мы лишь возвращаем ему его исконную сущность. Понимаете?

Ну, какой упрек еще вы мне предъявите? Справедливость?

Тримушки-Трай. Справедливость.

Чиновник. А справедливо ли, что гений живет в дерьме и очень недолго, самым коротким и прямым из известных ему способов превращая себя в шедевры, коими наслаждаются сытые?

Тримушки-Трай. Это его – высшая! – форма существования.

Чиновник. А мы даем такую – высшую! – форму существования – каждому! Почему вы хотите лишить их удела избранных? Вы не впадаете в элитарность, а, демократ?..

Тримушки-Трай. Гений избирает сам!

Чиновник. А мы помогаем слабому! Он служит людям – на века: вот высший смысл. А от нас с вами останется пшик. Так что его удел даже и выше.

Тримушки-Трай. Я отказываюсь.

Чиновник. По вашей вине человек, предназначенный природой стать белоснежной надстройкой лайнера, может превратиться в зеркало для бара. Ведь ваша задача, господин учитель, – определять, кто чего стоит.

Кроме того – подумайте о собственном назначении. О полной реализации всех заложенных в вас возможностей. Ведь чем полнее напрягает человек все свои способности – тем в большей степени он именно живет, а не прозябает. Стремление к самоутверждению, жажда самореализации, долг перед обществом велят нам жить в максимальном напряжении сил, делать самое большее, на что мы годимся.

Тримушки-Трай. Мне неловко вас задерживать и утомлять, но я отказываюсь.

Чиновник (*с презрительно-насмешливыми нотками*). А вы не знаете, отчего не задумывались раньше, куда деваются люди и откуда берется все? Может, у нас завелся гаммельнский крысолов, а вместо дудочки у него рог изобилия, мм?.. Да, у нас институты слухов, отвлекающая информация, контроль утечек, выборка по кустам с учетом сфер связей и знакомств, но ведь имеющий глаза да разует их, коллега! Вам было плевать на всех! Вы общались с семьей и коллегами по школе – это один слой, нужный, мы здесь не трогали, – прочие вас не волновали. А вы не допускаете, что в глубине души подозревали нечто подобное, мм? Но ваше сознание не желало дискомфорта, и эта скверная мысль туда просто не допускалась: так швейцар отгоняет от дверей ресторана шокирующего вида бродягу.

Оставьте же хоть сейчас лицемерие. Отдайте себе отчет в том, что ваш услужливый и изошренный интеллигентский разум подает наверх именно то, что требуется психоморально-интеллектуальной структуре вашей личности для нормального функционирования. Станьте честны! И сумейте сохранить верность себе, увидев все вещи в их нагой сути, не зависящей от вашего эгоистичного стремления сохранить добродетель в собственных глазах. Вот тогда я, может быть, стану уважать вас по-настоящему.

Тримушки-Трай. Всю жизнь я учил детей честности и добру...

Чиновник (*перебивает*). Кстати, не забудьте о собственных детях. Где гарантия, что они станут интеллектуалами? А для своих всегда случаются послабления, все на свете, знаете, люди...

Тримушки-Трай. Кто знает, пока они вырастут... И потом, они у меня умные ребята... Нет.

Чиновник (*вытягивает из нагрудного кармана своего клетчатого пиджака свежий белый платочек и с некоторой аффектацией вытирает лоб. Лоб бледный, как и все лицо, в частых мелких морищинках*). Вы меня утомили.

Тримушки-Трай (*тоже вытирается. Ворот его голубой сорочки промок*). Боюсь, что мы не договоримся.

Чиновник. Не бойтесь. Ничего не бойтесь. Будьте мужчиной. Потому что, судя по вашему тупому упорству, через час вы выедете из ворот малоприметного здания в трех кварталах отсюда в виде чего-нибудь вроде дюжины унитазов. Сомневаюсь, чтобы вы, как истый яйцеголовый, годились на что-либо лучшее.

Пауза. Видно, что Тримушки-Трай взвешивает все в последний раз. Выглядит он явно измученным. Судя по выражению лица, он уже в значительной мере утратил способность сообщать. Принимает вид совершенно отрешенный.

Тримушки-Трай. Нет.

Чиновник (*извиняющимся тоном*). Разумеется, вы понимаете, что лично я испытываю к вам, к вашей стойкости только симпатию – при всем моем сожалении о вашей непонятливости, – но и при вашей непонятливости вы понимаете, что мы не можем, не должны, не имеем морального права выпустить вас с той информацией, которую вы получили.

Тримушки-Трай. Пусть... Другие и так поймут, в конце концов.

Чиновник. Вы не иначе как считаете, что здесь дураки собрались, коллега. Нет – не поймут. Тем, кто поймет, мы предложим работать с нами. Одни начнут работать с нами, другие – на нас, с позволения выразиться. Помимо этого, мы уже ввели психологический отбор – убеждаетесь на себе; тесты ваши небезынтересны, но без вас лично мы благополучно управимся; к тому же завершается программа исследований по введению отбора генетического. Далее – мы уже почти привели уровень населения к оптимуму, а при дальнейшем наращивании экономики и вовсе, вполне вероятно, отойдем от современного метода. Временные, так сказать, и экстренные меры.

Ладно. (*Дружески подмигивая.*) Помогу вам завершить эту маленькую сделку с вашей маленькой нездоровой совестью. Знаете, что делает разумный человек, если совесть у него захромала? Покупает ей костыль, голубчик. Хотя вы и так уже, в сущности, согласны, но – стесняетесь. Будь по-вашему. Ультима рацио.

Кряхтя, открывает в панели рядом с баром экран телевизора. Включает. Появляется изображение жены Тримушки-Трая, кормящей детей: двухлетний сын увертывается от ложки с кашей, дочка смотрит осуждающе.

Еще Цезарь поучал – води дело с людьми семейными, они покладисты. Обязан ли я пояснить, что унитазов получится не одна дюжина, а четыре? или три с мелочью – это вне моей компетенции. Тихо! Тихо! Ну?! Работаете? Да – нет, времени не даю. Все! Нет?

Тримушки-Трай. Да.

Чиновник. Без десяти двенадцать. Мы с вами хорошо управились. На десять минут прежде срока. Выпейте еще, коллега, не переживайте – коньяк казенный. А работа вам понравится, я уверен. Возможности у нас неограниченные. База, аппаратура – это ж сказка. Мечта любого ученого.

Что же до ваших переживаний – голубчик, с непривычки новое дело часто слегка пугает. Пустое. Привыкнете, увлечетесь. Везде своя специфика. Люди переходят в вещи, дела – это же закон природы. Учитывая законы, помогать им, направлять, использовать, – естественное дело и право человека.

Кстати, а кто были те двое, вы знаете? Не догадались? Нет? М-да... А я знаю. И они, я думаю, тоже все знают... Такая работа.

Возвращается за свой огромный полированный стол, садится спиной к окну, так что против света виден только его силуэт на фоне ярко голубеющего неба – утро было хмурое, а сейчас распогодилось. Щелкает тумблером селектора.

Дежурный? Четыреста седьмая. Двое за мной. Результаты?

Селектор. Документов нет. По редакциям не значатся. По центральному справочному не значатся. По дактилоскопии не значатся. Допрос неадекватен. Дан запрос на психиатрическую экспертизу.

Чиновник (*тихо и даже с некоторой грустью*). Запрос отменить. Акт по форме двадцать девять. Текущим транспортом в утилизацию. Накладную к отчетности. Рапорт в общем порядке.

Селектор. Есть. (*Щелкнув, отключается.*)

Чиновник. Вот такие пирожки, голубчик. Ну, давайте ваш пропуск, поставлю печать. Топайте себе домой, успокойте жену. Трейлер придет в среду, в девять утра. Переберетесь в наш городок – это пятнадцать миль от города, побережье, закрытая зона – рай. Четыре дня на устройство, в понедельник в восемь пятьдесят звоните по тому же телефону.

Порадую напоследок: вероятно, в будущем вам предстоит работать над интереснейшей и благороднейшей задачей, которая должна прийтись вашей филологической душе вполне по вкусу. Поскольку ряд авторитетов считает в принципе малогуманным сокращать срок существования материи в форме гомо сапиенс, наделенной сознанием гомо сапиенс, то в перспективе перед нами вырисовывается задача обеспечить этому сознанию полнометражную, так сказать, жизнь, независимо от реального времени. Пусть себе субъективно проживут за пять минут транспортировки хоть Мафусаилов век и семь сундуков приключений. А время – хм... ученые так и не выяснили, что это такое... кто знает... Для самих-то себя они явятся полноценными долгожителями, так что им грех жаловаться. Поскольку реальность дана нам в наших ощущениях, верно? мм? – или вы не придерживаетесь этого тезиса? – то для них реальность будет поистине восхитительна. Ну, разве не благородная задача?

Тримушки-Трай (*забирает отмеченный пропуск, направляется к дверям, уже у порога задумывается на секунду и, обернувшись, спрашивает с мстительным интересом*). Послушайте, коллега, а вы не думаете, что эта задача уже решена?

Чиновник (*с искренним профессиональным интересом, но недоверчиво и слегка не понимая*). То есть?

Тримушки-Трай. Что реально-то мы с вами находимся сейчас уже в транспортировке, превращаемся в унитазы и хрустальные здания? А это – так... гипноз... наше субъективное представление.

Чиновник (*раздраженно*). В свободное время я с удовольствием побеседую с вами о Шопенгауэре и прочем. В садике, вечером. За коктейлем.

Тримушки-Трай. А все же?

Чиновник. К сожалению, мы не располагаем более временем. Работа есть работа. Честь имею кланяться.

Долги

1

Чем крепче нервы, тем ближе цель. С этим изречением я познакомился в девятнадцать лет: прочитал татуировку на плече. Плечо смотрелось: мускулистое под жестким загаром, оно как бы подкрепляло смысл надписи. И соответствующее лицо мужчины. Что слова эти из песенки американских матросов времен второй мировой войны, я узнал гораздо позднее.

У меня нервы скверные. Как у многих. Я долго запрягаю и медленно едзу, виляя по сторонам. Близость цели возбуждает меня сверх меры, перехлестывающий энтузиазм мешается со страхом упустить, и как следствие – паническая суета, затрудняющая дело. Мысленно я всего уже десять раз достиг и столько же раз потерял. И добившись наконец давно желаемого, я испытываю обычно только усталость и легкое разочарование, что ну вот и все.

Так было и сейчас – но и не совсем так. У меня вышла вторая книга. Не шедевр, греза начинающего, однако и не такая плохая книга, честное слово. На уровне. Телевидение поставило мой сценарий и заключило договор на другой. Тоже – не Штирлиц, но многим вполне понравилось. Я стал профессионалом.

Занятое мной положение не давало исчезнуть отраде, знакомой на моем месте любому. Удовлетворение лишь подстегивалось некоторыми отзывами вроде «талантливо начинал», «на халтуру разменивается», – подобные высказывания, как правило, исходят от людей, добившихся меньшего, чем ты, и продиктованы, вероятнее всего, завистью. А зависть, по формулировке Скрябина, есть признание себя побежденным... Я – оцениваю свои возможности реально; а профессионализм есть профессионализм: неумно тщиться гением в тридцать семь лет.

И вот в свои тридцать семь я получил возможность «остановиться, оглянуться», – право на передышку. Годы подряд я, без преувеличения, работал много и напряженно. Я писал и переписывал бесконечно, я предлагал десятки вариантов и вносил тысячи поправок. Кто сомневается, как трудно составить себе какое-то литературное имя, пусть попробует сам.

Теперь я обладал солидной суммой. Деньги гарантировали свободу во времени. Я погасил задолженность за свой однокомнатный кооператив. Раздал долги. И полтора месяца предавался сладостному ничегонеделанью.

Я просыпался в полдень, наливал из термоса кофе и читал в постели детективы. Бродил днем по музеям и просто по зимнему городу, едва ли не впервые воспринимая его красоту и красоту вообще всего кругом. Высшее, самое тонкое и полное наслаждение всем сущим доступно, наверное, одним бездельникам.

Характер мой выровнялся, исчезла раздражительность: я посвежел. Я наслаждался жизнью; с повторяемостью наслаждение требует дополнительной остроты: я мог позволить себе роскошь никчемных дел.

2

Большинство неактуальных вещей, которые мы откладываем, мы откладываем навсегда. Это можно считать слабостью характера; или давлением обстоятельств. Можно считать иначе: что не сделано, то не очень-то и нужно. И все же невыполненные намерения, неудовлетворенные желания, по мере времени теряя свою конкретность, превращаются в некий неопределенный груз, тяготеющий на душе. Ощущаешь какую-то незавершенность, неполноценность собственной личности и судьбы. А когда возраст переходит период надежд и откладывать уже

некуда, эпизодическое отчаяние по поводу проходящих дней сменяется спокойным сознанием несостоятельности.

Ну, сознанием своей несостоятельности я, положим, не страдал. Главное-то я выполнил. А махнуть рукой на многое вынужден в жизненном движении каждый. Но тихо-тихо подтачивающий червячок, скрытый повседневностью, в моем комфортном состоянии сделался различимым.

У меня хорошая память на добро. Правда, не хвастаюсь. Вот ответить на него – это, по совести, несколько другое... Нужны деньги, или время, или то и другое, – а усилия направляешь на главное; все грешны...

Всегда перед появлением денег я решал рассчитаться по застаревшим долгам. Появившись, деньги с абсолютной неотвратимостью тратились на что угодно, долги же продолжали существовать; обычное дело.

В утешение я вспоминал байку, когда один меценат вещал о гордости человека слова, отдающего в срок, и как Маяковский отрубил, что присутствующим литераторам есть чем гордиться кроме отдачи долгов. Я не Маяковский, утешение действовало весьма частично.

Мне даже представляется, я знаю, с чего у меня возникла эта внутренняя потребность не быть должным.

3

Во втором классе я проспорил Леньке Чашкину рубль. Споря, я поступал здраво и практично, прямо неловко становилось – запросто, задаром получить Ленькин рубль. Затрудняюсь изложить сомнительной приличности предмет спора. Ленька поплеывая поправ мораль, проявив известную мальчишескую доблесть. За поправление морали платить оказался обязан я. Рубль представлялся мне платой чрезмерной. У меня не было рубля.

Как все герои, Ленька был великодушен и забывчив. Через несколько дней вопрос о рубле, к моему облегчению, заглох. Радостью я поделился с отцом.

К моему разочарованию, поддержки в нем я не обнаружил. Отец преподнес мне те истины, что, во-первых, спорить вообще нехорошо, во-вторых, спорить на деньги особенно нехорошо, в-третьих, спорить на то, что не тобой заработано – вовсе плохо, но не отдавать проспоренное – не годится уже совершенно никому. И выдал рубль.

Я вручил Леньке рубль. Он принял его, быстро скрыв уважительное удивление, с превосходством насмешки над неудачником и вдобавок дураком. Я ожидал иной реакции. Я слегка обиделся.

Но жить стало легче: исчезла опасность напоминаний, осталось сознание правильности поступка.

4

Первый перекокс мое представление о необходимости отдавать долги получило на собрании абитуриентов, где Надька Литвинова одолжила у меня рубль до завтра, и это светлое завтра еще не наступило. У нее ни в коем случае руки не были устроены к себе, раздавая пять лет как староста группы стипендии она вечно себя обсчитывала, кому-то давая больше – и ей не всегда возвращали: легкая натура, не придавала она значения рублю. Рублю я тоже не придавал, а факт – ну засел, что ты поделаешь. Первый раз памятный.

Позднее я помню всего четыре случая, когда мне не возвращали. Черт его знает, не верится, чтобы всего четыре. Я задолжал куда больше, ого. Хороший я такой, что не помню, или скотина, что мне отдавали, а я нет – затрудняюсь определенно сказать.

Как я впервые не отдал – тоже помню отлично. В сентябре, в начале второго курса, собирались мы на какую-то пьянку. (Написал «пьянка» и споткнулся – предложат ведь заменить «вечеринкой», «днем рождения». И пусть слово цензурное, общелитературное, всеми употребляемое... А, – я сам раньше заменяю...) Да, и мне срочно требовались два рубля, причем не на вино, а на цветы. Кому цветы, зачем – позабылось, но точно на цветы. И занял я у Машки Юнгмейстер, и у Машки дочка кончает школу, и Машка наверняка ни сном ни духом про эти два рубля не ведает – а у меня память. Сколько раз я хотел отдать. Или цветов ей принести. Или конфет. Фиг. Не до того.

5

Мы все собираемся когда-нибудь раздать все долги.

И наступает время. Или так и не наступает.

Господи, деньги у меня есть – больше нужного, машина, дача и лайковое пальто мне ни к чему, родные обеспечены, алименты платить не на кого, ресторанов я не переночую, пить избегаю, нынешние мои знакомые сами в достатке, а я столько в жизни добра от людей видел, клянусь, иногда злобишься: «Стану сволочью – насколько легче заживется», – да оттаиваешь при касании участия человеческого...

Привлекает и благородная праведность – разбогатев, воздать за добро сторицей. Ну, сторицей – не шибко-то и получится, – но воздать. Желательно с лихвой.

«Понял?» – сказал я червячку, шевелящемуся в безмятежном довольстве моей души. И червячок явственно пообещал превратиться в благоухающую розу, лучшее украшение этой самой моей души.

6

По порядку – первый долг следовал Машке. Я запасся бутылкой сухого, тортом, купил букет белых цветов, названия которых и поныне не знаю – они одни зимой и продаются у нас, кажется хризантемы, – и отправился. Адрес еще уточнил в госправке.

Перед дверью постоял. Покурил.

Машка сама открыла. Толстая, нездоровая на вид. Секунду смотрела, узнавая.

– Ой, Тишка! – и повисла у меня на шее. – Тыщу лет!

Я видел ее как бы раздвоенно, не в фокусе, – глазами и памятью, и было чуть больно и печально, пока изображения не совместились и она не стала прежней Машкой, какую я всегда знал.

– С цветами! С бутылкой! Ну же ты лапуня!..

– Машка, – сказал я, – за мной должок.

Она отодвинулась взглядом.

Я вынул два рубля и подал:

– Восемнадцать с половиной лет. Вот – взбрело в голову...

– Ты что, спятил? – осведомилась Машка с собранным лицом. Она, похоже, заподозрила, что я решил расплеваться и демонстрирую жест.

– Спокойно, – успокоил я. – Просто я, понимаешь, немножко разбогател, и вдобавок мне нечего делать; и вдруг как-то припомнилось...

Она с исчезающей опаской послушалась, взяла:

– И черт с тобой, – удивилась она. – Раньше я за тобой ненормальностей не замечала. Да раздевайся, чего встал. Или только за этим приехал?

– Обижает, мать, – облегченно поспешил я. – Накормишь?

– Другой разговор. Цветы. Ну обалдеть! Спасибо, – чмокнула меня и впервые удалилась из захлавленной прихожей: – Вова! Кто к нам пришел!

Вовку Колесника, ее мужа, я знал со студенческих времен. Изменился он мало; приветствуя, мы друг друга похлопали.

Продолжалось обыденно: ну, пришел в гости... быстрое хлопотание, стол, рюмки, цветы в вазе. Представили свою шестнадцатилетнюю дочку, довольно милую, попутно упрекнув ее в слабовыраженности интересов. Сели вчетвером. Машка сияла.

– Где работаешь-то?

– Пишу, – сказал я; не то чтобы я надеялся, что они меня читали...

– Да? Где тебя печатали?

– Ерунда, – небрежно махнул я рукой. – Так, печатаюсь. Телефильм тут недавно, «Зимний отпуск», не смотрели?

– Нет. А что, ты ставил?

– Не совсем, – сценарий мой.

– Так молодец!.. – стали радоваться они. – Его по второй программе еще будут показывать? знали бы... чего ты не предупредил-то.

Вовка преподавал в институте, Машка по-прежнему торчала в библиотеке; разговор пошел о делах... Когда-то Машка здорово играла на гитаре. И пела. И могла в стройотряде матом поднять на работу бригаду ребят.

– ...Гитара-то в доме есть, Машка? – спросил я.

– С ума сошел, – отреклась она, – десять лет в руках не держу.

– Возьми-и, – в голос заканючили Вовка и дочь Света.

После сухого Вовка твердо выдержал супругин взгляд и достал водку. Постепенно все стало хорошо, по-свойски, без нарочитости и напряжения, Машка без повторных просьб сама принесла гитару и пела те, старые песни, и было приятно еще от того, как смотрела на меня – писателя – юная дочка. Отпустили меня только в половине первого, – поспеть на метро. Мне неловко было говорить, что поеду я все равно на такси. Да и – им-то завтра на работу.

Засыпал я с удовлетворением. Первый пункт намеченной программы был выполнен толково.

7

Со вторым долгом обстояло сложнее.

На третьем курсе я одолжил у дяди Валентина червонец.

Зимним вечером мы с ребятами в общежитии тосковали: изыскание ресурсов окончилось безнадежно. Я плюнул, оделся и пошел к дяде, благо жил он через два дома. Надо заметить, время перевалило за десять, а стопы в его дом я направлял второй раз в жизни.

Долго звонил, вознамерившись не отступать (они рано ложились). Дверь открылась неожиданно – дядя в ночной старомодной рубашке до пят холодно смотрел.

Я шагнул, набрал воздуха и принялся сбивчиво врать про замечательный свитер, продающийся срочно и безумно дешево, так необходимый мне в эту холодную зиму, – и не хватает всего восьми рублей. Не дослушав, дядя вышел, вернулся с десяткой, улыбнулся, потрепал меня по плечу, пресек приличествующие расспросы о жизни и здоровье и дружелюбно подтолкнул к выходу.

Червонец был пропит через полчаса.

Глубокую симпатию к дядиному стилю общения я храню.

Дядя умер через несколько лет.

Я купил шоколадный набор за шестнадцать рублей (дороже не нашел) и поехал к тете, его вдове, которую не видел десять лет.

Тетя стала суровой и даже величественной старухой.

– Никак Тихон, – сощурилась она. – Заходи. Никак в гости сподобился. Порадовал. А я думала, уж только на моих похоронах встретимся. В тебе крепки родственные связи.

Я был препровожден в комнату, картиночно чистую, словно вещи век хранили раз навсегда определенное положение. Последовали наливка и типично родственный разговор, который легко представит каждый... Я не мог решиться. Конфеты лежали в портфеле.

Но незаметно переключились на дядю: его доброта, таланты... и я в самых благодарственных тонах прочувственно изложил ту давнюю историю. Тетка выслушала спокойно, тихо усмехнулась. И коробку конфет приняла как безусловно должное и приличествующее.

– Тетя Рая, – приступил я тогда. – Все собираемся, собираемся... Поймите правильно. Свербит у меня... Ерунда, – но... Поймите, мне просто очень хочется, возьмите у меня, пожалуйста, этот червонец.

– Что ж, – она кивнула согласно. – Давай.

Мы распрощались друзьями. Я чувствовал, что следующее свидание теперь произойдет раньше ее похорон. Хотя уже в подъезде понял, что вряд ли...

Чуть-чуть – чуть-чуть продолжало свербить...

С десятирублевым букетом я поехал на кладбище.

Там березы гасли в пепельном небе, тени затягивали слабо расчищенные в снегу дорожки. Я долго искал дядину могилу. Найдя, снял шапку, опустил цветы на сумеречный снег.

– Такие дела, дядя, – сказал я. Закурил и надел шапку – холодно было. Постоял, подумал... – Может, не такое уж я животное, хоть и не общаюсь с родственниками. Дела, знаешь. Да и о чем разговаривать-то при встречах. А по обязанности – кому это нужно, верно?.. Но я помню все. Хороший ты был мужик. Ей-богу, хороший. Пускай тебе воздастся на том свете и за червонец тот, если таковой свет имеется. А я – вот он я...

То ли вечерний воздух кладбищенский, стоячий и чистый, так действовал, пахнувший зимним простором, то ли само пребывание в месте подобном, то ли просто собой я доволен был, – но уходил я с умиротворением.

На ночь я перечитал «Мост короля Людовика Святого». Когда-то я тоже хотел написать такую книгу.

8

«8 р. – Тамаре Ковязиной. (Нечем было срочно заплатить за телефон.)»

«12.50 – Ваське Синюкову. (Моя доля за диван, подаренный на свадьбу Витьке Гулину.)»

«4 р. – Виталику Мознаиму. (За что?..)»

«7 р. – Егору Карманову. (Не хватило на билет из Сыктывкара. И обещал прислать блесны и леску.)»

«3 р. – Володе Зиме. (Пивбар.)»

«11 р. – Б. Кожевникову. (Покер.)»

«10 р. – Томке Смирновой. (Новый год.)»

«40 р. – Витьке Андрееву. (Снятая комната, два месяца.)»

«8 р. – Дмитриевым. (Шарф.)»

«11 р. – Бате (Горшкову). (Пари.)»

«5.30 – Боре Тихонову. (Пари.)»

«5 р. – Игорю Гомозову. (Оставался без копейки.)»

«Володе Подвигину – списаться – Барнаул – обещал прислать парик.»

«Кабак – Королеву; Флеровой; бутылка – Цыпину; Блэк».

9

Человек с возрастом определяется, твердеет, исчезает внутренняя коммуникабельность, новых друзей нет, старые удерживаются памятью юности – а при встрече вдруг вместо симпатии и умницы натыкаешься на полную заурядность: «где были мои глаза?..»

Старая истина открылась мне не сейчас; я не сентиментален. Я платил по счетам. Червячок постепенно рассасывался, как бы превращаясь в невесомую взвесь, сообщавшую дополнительную прочность веществу души. Но проявилось маленькое черное пятнышко, как ядро в протоплазме, оно выделялось все отчетливее.

Долг долгу рознь, рублем не покроешь. Кто не тешил себя обещаниями когда-нибудь кое-кому припомнить мерой за меру.

Пятнышко разрослось в слипшийся ком. Я отодрал одно от другого, рассортировал, – и с некоторой даже неожиданностью убедился в исполнимости.

10

Он унизил меня сильно. Служебная субординация... я проглотил: на карте стояло слишком много.

Я нашел его. Он был уже на пенсии. День был теплый и талый, с капелью, во дворе за столиком укутанные пенсионеры стучали домино.

– Круглов? – спросил я.

Они подняли лица в старческом румянце.

– Вы мне? – спросил он.

Я назвал. Он не помнил. Я очень подробно напомнил ему тот год, то лето, месяц, пересказал ситуацию.

Он заулыбался.

– Как же, как же... Да, отчебучили вы (он чуть замедлился перед этим «вы», по памяти обратившись было на ты), – отчебучили вы тогда штуку. Выговорил я вам тогда, да, рассердился даже, помню!..

Я сказал ему в лицо все. Румянец его схлынул, обнажив склеротическую сетку на жеваной желтизне щек...

Пенсионеры испуганно притихли. Но я был готов к жалости, и она мне не мешала.

– Я много лет жил с этим, – сказал я. – Теперь мой черед... Квиты! Помни меня.

Я отдавал себе отчет в собственной жестокости. Но к нему вернулся его же камень.

11

Первый такого рода долг за мной ржавел со второго класса.

Мы просто столкнулись в дверях, не уступая дороги.

– Пошли выйдем? – напористо предложил я.

– Выйдем?.. Пожалуйста! – он принял готовно.

Дорожка у заднего крыльца школы, огражденная низеньким штакетником, обледенела. Болельщики случились все из моего класса (он был из параллельного, причем меньше меня). Ободряемый, я ждал с превосходством.

Скомандовали:

– Раз! Два!.. Три! – и он ударил первый, и очень удачно попал мне по носу, а я стоял задом прямо к низкому, под колени, штакетнику и поскользнувшись перевалился через него вверх ногами.

Засмеялись мои сторонники.

Ободренный противник, не успев я вылезти, бросился и изловчился отправить меня обратно.

Зрители помирали. Я растерялся.

И в этой растерянности он очень расторопно набил мне морду. Не больно, – не те веса у нас были, но довольно противно и обидно. Я был деморализован.

– Эх ты, – презрительно бросил назавтра знакомый из его класса, – Василию не смог дать...

Я так и не дал Василию. Черт его знает: меня били, я бил, и репутацией он не пользовался, бояться нечего было, – а остался его верх.

Это обошлось мне в пятьсот рублей и неделю времени. Я полетел в Крымскую, где тогда учился, поднял школьный архив, взял его данные и разыскал в Оловянной, в трех часах езды.

– Ну, здравствуй, Василь, – сказал я сурово, встав в дверях.

Он испугался, – хилый недомерок, полысевший, рябой такой.

– Одевайся, – велел я. – Разговор есть. Минут на пару.

Затравленно озирающегося, я свел его с крыльца в снег, к заборчику, треснул и подняв под бедра (легонького, не больше шестидесяти) свалил на ту сторону.

Он поднялся не отряхиваясь. И было не смешно. Но и жалко мне не было. Происходящее воспринималось как бы понарошке. Я знал, что все объясню, и мы вместе посмеемся.

– Не трус, – ободрил я. – Лезь обратно.

И повторил номер.

Войдя в нечаянный азарт, я довесил ему, пассивно сопротивляющемуся, напоследок, и принялся очищать от снега. Он подавленно поворачивался, слушаясь.

– А теперь выпивать будем, – объявил я. – Зови в гости.

Он отдыхал один дома (работал машинистом тепловоза) – жена на работе, дети в школе.

– А помнишь, Василь, – со вкусом начал я, когда мы разделись и сели в кухне, за застеленный клеенкой стол напротив плиты, где грелась большая кастрюля, – помнишь, как во втором классе одному дал?

Под нагромождением подробностей, с ошеломленным и ясным лицом, он вскочил и уставился:

– Дак што?.. Ты-ы?!

Я выставил водку. Мы выпили за встречу. Я, уже привычно, объяснился – зачем пожаловал. Он смотрел с огромным уважением и не верил:

– Для этого за столько приехал?

Разговор пошел – о чем еще?.. – о судьбах школьных знакомых...

– А ты где работаешь?

– Пишу.

– В газете?

– Да не совсем. Книги.

– Писатель? – осмысливая переспросил Василь.

– Так.

– Писатель, – он даже на стуле подобрался. – А... что написал? Я читал?

– Э... Вряд ли. – Я назвал свои книги.

Он подтвердил с сожалением.

– Обязательно в библиотеке спрошу, – пообещал он, и было ясно, что да, действительно спросит, и даже возможно найдет и прочтет, и будет рассказывать всем знакомым, что этот писатель – Рыжий, Тишка из второго Б, которому он когда-то набил морду, а теперь Тишка приехал и ему набил, вот дела, и поставил выпить.

Суется на месте, Василь уговаривал дождаться семью, обедать, погостить; приятно и ненужно...

Я оставил ему адрес. Он кручинился: семья, работа... я понимал прекрасно, что он ко мне не заглянет, да и говорить нам будет не о чем, а принимать на постой его семейство мне не с руки, – но, отмякший сейчас и легкий, приглашал я его в общем искренне.

12

Подобных должков еще пара числилась. И первый из кредиторов, надо сказать, обработал меня самым лучшим образом. Крепкий оказался мужик. Потом мне за примочками в аптеку бегал и сокрушался. Последующее время мы провели не без удовольствия, он ахал, восхищался моей памятью, очень одобрял точку зрения на долги и все предлагал мне дать ему по морде, а он не будет защищаться; профессия моя ему почтения не внушала, это слегка задевало, но и увеличивало симпатию к нему.

Я честно сделал все возможное и ощущал долг отданным; он уверял меня в том же, посмеиваясь.

Мы расстались дружески, по-мужски, – без пустых обещаний встреч.

С другим обстояло сложнее. Круче.

Он увел у меня девушку. Такой больше не было. Он увел ее и бросил, но ко мне она не вернулась. Рослый и уверенный, баловень удачи, – чихать он на меня хотел.

Ночами я клялся заставить его ползать на коленях: типическое юное бессилие.

Расчет распадался, – разве только он теперь обдряб и опустился. Но вопрос стоял неогибаво: сейчас или никогда.

Он пребывал в Куйбышеве. Он был главным инженером химкомбината. Он процветал. Я оценил его издали, и костяшки моих шансов с треском слетели со счетов.

Восемь гостиничных ночей я лежал в бессоннице, а днями обрывал автоматы, уясняя его распорядок. Из гостиницы я не звонил, опасаясь встречной справки. Утром и вечером я припоминал перед зеркалом все, что пятнадцать лет назад на тренировках вбивал в нас до костного хруста знакомый майор, инструктор рукопашного боя морской пехоты.

Я пошел на девятый день. Я знал, что он один. Я переждал на лестничной площадке, ставя на внезапность, скрепляя на фундаменте своей боязни недолговечную постройку наглости. Я не звонил – я постучал в дверь, угрожающе и властно.

Он отворил не спрашивая – в фирменных джинсах, заматеревший, громоздкий.

– Ну вот и все, Гена, – сказала ему судьба моим голосом, и я шагнул, бледнея, в нереальность расплаты.

И знаете – он тут струхнул. Он отступил с застрявшим вздохом, от неожиданности каждая часть его лица и тела обезволилась по отдельности, это был мой момент, и я обрел действительность в сознании, что не упущу этот момент и выиграю.

Я ударил его по уху и в челюсть, без всякой правильности, рефлекс мальчишеских драк – ошеломить, и знал уже, что он не ответит, и он не ответил, он закрылся, согнувшись, и инструкторский голос рявкнул из меня, окрыленного: «На колени!!», и я дал ему леща по затылку,

...и он опустился как миленький. И сказал: «Не надо...»

И во мне прокрутилась гамма: счастье, облегчение, разочарование, усталость, покой, потерянности. Я пихнул его носком ботинка в мощный зад, и все вдруг мне стало безразлично.

– Иди ум-мойся, – сказал я и стал закуривать, забыв, в каком кармане сигареты.

Он нерешительно поднялся и долгую секунду смотрел (он узнал меня) с робостью, переходящей в убедительнейшую любовь. Любовью всего существа он жаждал безопасности.

– Иди, – повторил я, кивнул, вздохнул и снял пальто. – Быстро.

Не стоило давать ему опомниться, но у меня у самого нервы обвисли.

Расположились среди современного интерьера: лак, чеканка, низкие горизонталы мебели. Любезнейший хозяин метнул коньяк. Я припер жестом: заставил принять шестнадцать рублей – стоимость.

– За то, чтоб ты сдох.

Он улыбнулся с легкой укоризной, и мы чокнулись.

– Знаешь за что?

– Да.

За это «да» он мне понравился.

Я имел приготовленный разговор. «Почему ты на ней тогда не женился?» – «Ну... можно понять...» – «Я могу заставить тебя сделать это сейчас. Или – крышка, и концов не найдут». (Ужаснейшая ахиня. Я давно потерял ее из вида.) – «Пусть так, допустим даже... Но – зачем?..» – «Да или нет? Быстро! Все!» – Легучее лицемерие памяти: «Я думал иногда... Может, так было бы и лучше...» Вообще – дешевый фарс. Но взгляните его глазами: после прошедшей увертюры первые минуты ожидаешь чего угодно.

Мы проиграли нечто подобное взглядами. Превратившись в слова, оно обратилось бы фальшью.

– Я мог бы уничтожить тебя, – вбил я. – Верить?

– Да. – Правдивое «да» звучало лестно.

Ах, реализовалась фантазия, спал долг, да печаль покачивала... Я помнил, какой он был когда-то, и она, и я сам, и как я мучался, и как страдала она – из-за него, и ее страдание я переживал иногда острее собственного, честное слово.

Я не испытывал к нему сейчас ненависти. Нет. Скорее симпатию.

– Прощай.

Он тоже поднялся, неуверенно наметив протягивание правой руки. Я пожал эту руку, готовно протянувшуюся навстречу.

Когда-то при мысли, чего эта рука касалась, я погибал.

А почему бы, в конце концов, мне было теперь и не пожать ее?

13

Зима сматывалась с каждым солнечным оборотом, все более размашистым и ярким; таяло, сияло, позванивало; почки памяти набухли и стрельнули свежими побегами воспоминаний о женщинах и любви.

И я полетел в Вильнюс, где жила сейчас моя первая женщина, жена своего мужа и мать двух их детей, которая в семнадцать лет любила меня так, что легенды тускнели, и которой я в ответ, конечно, крепко попортил жизнь.

Я позвонил ей; она удивилась умеренно; я пригласил, и она пришла ко мне в номер – казенное гостиничное убранство в суетном свете дня.

Статуэтки с кукольными глазами, «конского хвостика», ямочек от улыбки – не было больше; она сильно сдала; во мне даже не толкнулась тоска, – она вошла чужая.

– Здравствуй, Тихон, – сказала она (а голоса не меняются) с ясной усмешкой, как всегда, уверенно и спокойно. А на самом-то деле редко она когда бывала уверенной и спокойной.

И инициатива неуловимым образом опять очутилась у нее, несмотря на предполагаемое мое превосходство. Из неожиданного стеснения я даже не поцеловал ее, как собирался.

Шампанское хлопнуло, стаканы стукнули с тупым деревянным звуком.

– Говори, Тихон.

– Я давно... давно-давно хотел тебе сказать... Я очень любил тебя, знаешь?..

– Неправда, Тихон. – Она всегда называла меня полным именем. – Ты не любил меня. Просто – я любила тебя, а ты был еще мальчик.

– Нет. Знаешь, когда меня спрашивали: «Ты ее любишь?» – я пожимал плечами: «Не знаю...» Я добросовестно копался в себе... Что имеешь не ценишь, а сравнить мне было не с чем... обычное дело. Я же до тебя ни одной девчонки даже за руку не держал.

– Ты мне говорил это...

Я собрался с духом. Я вел роль. Ситуация воспринималась как книжная. Ни хрена я не чувствовал, как она вошла – так у меня все чувства пропали. Но я понимал, что делаю то, что нужно.

– Двадцать лет. Я только два раза любил. Первый – тебя. К черту логику некрологов. Хочу, чтоб знала. Я ни с кем никогда больше не был так счастлив.

– Просто – нам было по семнадцать.

– По семь или по сто! Мне невероятно повезло, что у меня все было так с тобой. Ты самая лучшая, знай. И прости мне все, если можешь.

– Детство... Нечего прощать, о чем ты... Ты с этим приехал? Зачем? Ты вдруг пожалел о том, чего у нас не было? Или ты несчастлив и захотел причинить мне тоже боль?

– Зачем ты... Я только по-хорошему...

– Что ж. Спасибо. – Она закурила. – Сто лет не курила. Да. Моя Катька уже влюбляется. – Она ушла в себя, тихонько засмеялась...

– Я хотел, чтоб ты знала.

– Я всегда это знала. Это ты не знал.

– А ты – ты ничего мне не скажешь?

– Спрошу. Ты счастлив?

– Да. Я жил как хотел, и получил чего добивался.

– Не верится. Ну... я рада, если так; правда.

Я попытался поцеловать ее. Она отвела:

– Не стоит. – И вся ее гордость была при ней. – Ты всегда любил красивые жесты.

– Пускай. Но так надо было, – ответил я убежденно, мгновение жалея ее до слез и изрядно любуясь собой.

14

Душа моя очищалась от наростов, как днище корабля при кренговании. Зеленые водоросли, прижившиеся полипы не тормозили уже свободного хода, я чувствовал себя новым, ржавчина была отодрана, ссадины закрашены, – целен, прочен, хорош.

Или – я был хозяйкой, наводящей порядок в заброшенном и захламленном доме. Или – лесником, производящим санитарную порубку и чистку запущенного леса: солнце сияет в чистых просеках, сучья собраны в кучи и сожжены, и долгожданный порядок улаживает зрение.

Мне нравилось играть в сравнения. (А вообще пригодятся – употреблю в какой-нибудь повести.)

15

К концу стало приедаться. Но наступил март, а мартовское настроение наступило еще раньше. Весьма необременительно зачеркивать пустующие по собственной вине клеточки в своей судьбе, когда нужно является приятным.

Я позвонил Зине Крупениной. Знакомство семнадцатилетней давности, подобие взаимной симпатии: я ей нравился не настолько, чтоб кидаться в мои объятия сразу, она мне – недостаточно для предпринятия предварительных действий. Лет пару назад, при уличной встрече, она улыбалась и дала телефон.

Все произошло до одури трафаретно, скука берет описывать: ну, вечер, двое, интимный антураж, предписанная каноническая последовательность сближения... Лицемерием было бы назвать ночь восхитительной, – но не был, это, конечно, и чисто рассудочный акт.

Проснулись до рассвета, с мутной головой – перепили. Я долго глотал воду на кухне, принес ей, сварил кофе, влез обратно в постель, мы закурили. Окно светлело.

Я ткнул из кучи кассету в магнитофон. Оказался Кукин. Песенки, которые мы все пели в начале шестидесятых, несостоявшаяся грусть горожан.

Я люблю случающийся рассветный час после такой ночи: опустошенная чистота, и горечь и надежда утверждения истины.

– Час истины, – произнес я вслух.

Кажется, она поняла.

– Кукин... – сказала она. – Ах... Где он сейчас?..

– Работает в «Ленконцерте», – сказал я.

16

По тому же сценарию прошли еще три свидания. Связи, по инертности моей застрявшие на платоническом уровне, были приведены к уровню надлежащему.

У четвертой выявился полный порядок с семьей и отсутствие желания, но я уже впрягся как карабахский ишак и, преодолевая встречный ветер, три недели волок свой груз через филармонию, ресторан с варьете, выставку и вечер у знакомых актеров, пока не свалил в своем стойле с обещаниями, услышав которые, волшебный дух Аладина сам запечатался бы в бутылку и утопился в море. И я поставил галочку против этого пункта тоже.

На субботу я снял банкетный зал в «Метрополе». Я разослал пятьдесят четыре приглашения. Я ходил ужинать к этим людям в дни, когда сидел без гроша. Они проталкивали мои опусы, когда я был никем, а они тоже не были тузами. Я был обязан им так или иначе. И я не был уверен, что случай отблагодарит представится. Кроме того, я давно так хотел.

На этом сборище я поначалу чувствовал себя нуворишем. Не все клеилось, многие не были знакомы между собой. Но по мере опустошения столов – вполне познакомились. Ну, кто-то льстил в глаза, ну, кто-то говорил гадости за глаза, – ай, привыкать ли к банкетам. Я их всех в общем любил. И все в общем прошло хорошо.

17

Наутро я проснулся – будто первого января в детстве. Четверть окончена, табель выдан, каникулы впереди, подарки на стуле у изголовья, и праздничное солнце – в замерзшем окне. Игрет музыка, а веселые мама с папой разрешают поваляться в кровати. Жизнь чудесна!

Я побродил в халате по квартире, «Бони М» пели, сигарета была мягкой и крепкой, коньяк ароматным и крепким, апрельский свежий день светился, прошедшие дни в наполненной памяти лежали один к одному, как отборные боровички в корзине.

План мой, перечень на четырех листах, я перечитал в тысячный и последний раз, и против каждого пункта стояла галочка.

Я со вкусом принял душ, со вкусом позавтракал, со вкусом оделся и пошел со вкусом гулять, – путешественник, вернувшийся из незабываемой экспедиции.

Дошел до своего метро «Московская», и еще одно осенило: не раз под закрытие приходилось мне просить контролера пустить в метро без пятака – то рубль не разменять, то просто не было и врал про забытый кошелек, – и всегда пускали.

Я сосчитал по пальцам число станций нашего метро и купил в булочной тридцать одну шоколадку.

– Девушка, – сказал я девушке лет сорока, хмуриющейся в своем загончике у эскалатора, – я задолжал вашей сменщице пяточок, – и протянул шоколадку.

Она улыбнулась, взяла и сказала:

– Спасибо!..

Я тоже ей улыбнулся и поехал вниз.

Ту же процедуру я произвел на остальных станциях, и к исходу четвертого часа, слегка одуревший от эскалаторов и поездов, подъезжая к последней остающейся станции – к «Академической», – обнаружил, что шоколадки кончились. Я каким-то образом ошибся в счете. Станций было не тридцать одна, а тридцать две.

Я устал. Выходить и снова покупать не хотелось. Пятак отдать? Ну, несолидно. И безделушек никаких – я похлопал по карманам. Единственное – шариковая ручка: простенькая, но фирменная, «Хавера». Привык, жаль немного. А, что жалеть, для себя же делаю.

И я подарил ручку с подобающими объяснениями светленькой симпатяжке с «Академической».

– И вам не жалко? – покрутила она носиком. – Спасибо. Хм, смешной человек!..

Я поехал домой.

18

Выйдя наверх, в отменно весеннюю погоду (уж и забыл о ней), я позвонил Тольке Хилину. Трубку никто не снял, – на дачу небось выбрался, работает. Позвонил Наташе – тоже никого. Усенко – не отвечает. Чекмыреву – никого нет.

Ну как назло. Хотелось поболтать с кем-нибудь по городу, посидеть где-нибудь. День еще такой славный, настроение соответствующее.

Ладно у меня всегда запас двухкопеечных монет, на сдачу привык просить. Звоню Инке Соколовой.

– Вы ошиблись. Здесь таких нет, – отвечает мужской голос.

Странно. Я полез за записной книжкой. Книжки не было. Забыл дома, видно, хотя со мной это редко случается.

Я истратил все семь оставшихся монет. Телефонов пятнадцать не ответили. Семь раз сказали:

– Вы ошиблись. Таких здесь нет.

Во мне разрасталось странноватое ощущение. Не настолько дырявая память у меня. С этим странноватым ощущением я пошел домой.

В винном кладу мелочь:

– Пачку «Космоса».

А продавщица – рожа замкнута, смотрит сквозь меня – ни гу-гу.

– Мадам! Вы живы?

Тут мимо меня один протиснулся:

– За два сорок две.

Она отпустила ему бутылку. А на меня – ноль внимания. И хрен с ней. Не стоит настроение портить. Я вышел из того возраста, когда реагируют на хамство продавцов. В конце концов дом рядом, заначка имеется.

Дошел я до своего дома...

Дважды в жизни я такое испытывал. Первый раз – когда школу закрыли на карантин – грипп – а я после болезни не знал и приперся: по дороге ни единого ученика, окна темные и дверь заперта. Чуть не рехнулся. Второй – в студенческом общежитии пили, я спустился к знакомым на этаж ниже, а вернуться – нет лестницы наверх. Полчаса в сумасшествии искал. Нет! Ладно догадался спуститься – оказывается, я на верхний этаж, не заметив, пьяный, поднялся.

Моего дома не было.

Все остальные были, а моего не было.

Ровное место, и кустики голые торчат. Травка первая редкая.

Я походил, деревянный, с внимательностью идиота посмотрел номера соседних домов: прежние, что и были.

Старушечка ковыляет, пенсионерка из тридцатого дома, визуально знал я ее.

– Простите, – глупо говорю, – вы не подскажете ли...

Она идет и головы не повернула.

Я окончательно потерялся. Потоптался еще и пошел обратно к Московскому проспекту.

Может, сначала попробовать маршрут начать?

Очередь на такси стоит. Покатаюсь, думаю, поговорю с шофером, оклемаюсь, а то что-то не того...

– Граждане, кто последний?

Ноль внимания.

Кошмарный сон. На улице без штанов. Руку до крови укусил. Фиг.

Пьяный идет кренделями, лапы в татуировке.

– Ты, алкаш, – говорю чужим голосом, – в морду хошь? – и пихнул его.

Он и не шелохнулся, будто не трогал его никто, и дальше последовал.

Чувствую – сознание потеряю, дыхание будто исчезает.

Иду куда глаза глядят по Московскому проспекту.

Мимо универмага иду. Зеркальные витрины во всю стену, улица отражается, прохожие, небо.

Иду... и боюсь повернуть голову.

Не выдержал. Повернул.

Остановился. Гляжу.

Все отражалось в витрине.

Только меня не было.

Я изо всей силы, покачнувшись слабо, ударил в зеркальное стекло каблуком. И еще.

И оно не разбилось.

Кошелек

Черепнин Павел Арсентьевич не был козлом отпущения – он был просто добрым. Его любили, глядя иногда как на идиота и заботливо. И принимали услуги.

Выражение лица Павла Арсентьевича побуждало даже прогуливающего уроки лодыря просить у него десять копеек на мороженое. Так складывалась биография.

У истоков ее брат нянчил маленького Пашку, пока друзья гоняли мяч, голубей, кошек, соседских девчонок и шпану из враждебного Дзержинского района. Позднее брат доказывал, что благодаря Пашке не вырос хулиганом или хуже, – но в Павле Арсентьевиче не исчезла бесследно вина перед обделенным мальчишескими радостями братом.

На данном этапе Павел Арсентьевич, стиснутый толпой в звучащем от скорости вагоне метро, приближался после работы к дому, Гражданке, причем в руках держал тяжеловесную сетку с консервами перенагруженного командировочного и, вспоминая свежий номер «Вокруг света», стыдливо размышлял, что невинно было бы найти клад. Научная польза и радость историков рисовались очевидными, – известность, правда, некоторая смущала, – но двадцать (или все же двадцать пять?) процентов вознаграждения пришлись бы просто к стати. Случилось так, что Павел Арсентьевич остался на Ноябрьские праздники с одиннадцатью рублями; на четверых, как ни верти, не тот все-таки праздник получится.

Он попытался прикинуть потребные расходы, с тем чтобы точнее определить искомую стоимость клада, и клад что-то оказался таким пустяковым, что совестно стало историков беспокоить.

Отчасти обескураженный непродуктивностью результата, Павел Арсентьевич убежал мыслями в предшествующий октябрь, сложившийся также не слишком продуктивно: некогда работать было. Зелинская и Лосева (острили: «Если Лосева откроет рот – раздастся голос Зелинской») даже заболеть наладились на пару, так что когда задымил вопрос о невельской командировке, к Павлу Арсентьевичу, соблюдая совестливый ритуал, обратились в последнюю очередь. Тем не менее в Невеле именно он, среди света и мусора перестроенной фабрики, целую неделю выслушивал ругань и напрягал мозги: с чего бы у модели 2212 на их новом клее стельки отлетают?

А по возвращении затребовался человек в колхоз. Толстенький Сергеев ко времени сдал жену в роддом, а «Москвича» в ремонт, вследствие чего картошку из мерзлых полей выковыривал Павел Арсентьевич. Он служил как бы дном некоего фильтра, где осаждались просьбы, а предложения застревали по дороге туда.

Слегка окрепнув и посвежев, он прибыл обратно, уже снег шел, как раз ко дню получки. Получки накапало семьдесят шесть рублей, да премии десятка.

Среди прочих мелочей того дня и такая затерялась.

В одной из натисканных мехами кладовых ломбарда на Владимирском пропадала бежевая болгарская дубленка, а в одной из лабораторий административного корпуса фирмы «Скорход», громоздящегося прямоугольными серыми сотами на Московском проспекте, погибала в дальнем от окна углу (как самая молодая) за своими штативами с пробирками ее владелица Танечка Березенько, – с трогательным и неумелым мужеством. Надежды на день получки треснули, и завалилась вся постройка планов на них: до Ноябрьских праздников оставалось четыре дня.

Излишне говорить, что Павел Арсентьевич сидел именно в этой лаборатории, через стол от Танечки. В дискомфортной обстановке он проложил синюю прямую на графике загустевания клея КХО-7719, поправил табель-календарик под исцарапанным оргстеклом и нахмурился.

Молчание в лаборатории явственно изменило тональность, и это изменение Павел Арсентьевич каким-то образом ощутил направленным на себя.

Дело в том, что дома у него висел удачно купленный за сто рублей черный овчинный полушубок милицейского образца, а у Танечки в дубленке заключалось все ее состояние.

Короче, вызвал тихо Павел Арсентьевич Танечку в коридор и, глядя мимо ее припухшей щеки, с неразборчивым бурчаньем сунул три четвертных. Увернулся от Сеньки-слесаря, с громом кантовавшего углекислотный баллон, и торопливо к автомату – пить теплую газировку...

И вот поднимался он на эскалаторе, и жалел жену... Среди толчеи площади рабочие обертывали кумачом фонарные столбы, а когда Павел Арсентьевич опустил глаза – на затоптанном снегу темнел прямоугольничек: кошелек. Только он нагнулся, как трамвай раскрыл двери, толпа наперла и так и внесла сложенного скобкой Павла Арсентьевича с кошельком. Пока он кряхтел и штопором вывинчивался вверх, сзади загалдели уплотняться, вагоновожатая велела освобождать двери, даме с тортом и ребенком придавили как первый, так и второго, юнцы сцепились с мужиком, передавали на билеты, трамвай разгонял ход... – момент непосредственности действия как-то исчезал, а злосчастная застенчивость сковывала Павла Арсентьевича все мучительнее. Спросил бы кто... А то вот, мол, благородный выискался, оцените все его честность и кошелечек грошовый, гордого собой... Заалел Павел Арсентьевич (и то – давка), однако собрался с духом уже, – да раздвинулись двери, народ вывалился и разбежался в свои стороны, и остался он один на остановке.

И тут обнаружил, что рука-то с кошельком – в кармане. Тьфу.

Черт ведь... Теперь в бюро находок завтра тащиться...

Кошелечек коричневый, потертый, самый средненький. Срезая пахнущим по-зимнему соснячком путь к подъезду, Павел Арсентьевич не выдержал – обследовал... Содержимое равнялось одному рублю, ветхому, сложенному пополам. Эть, – из-за пустяков...

– Верочка, – сказал он в дверях, улыбувшись и ясно ощутив движение лицевых мускулов, создавшее улыбку, – сегодня, знаешь...

Жена была верной спутницей жизни Павла Арсентьевича и настоящим другом; они делились всем. Она выразила взглядом дежурную готовность мирно принять известие и помочь найти в нем положительную сторону. Они хорошо жили.

– Мамочка! бежит! – запаниковала Светка из кухни, грибной дух и шипение распространились одновременно, Верочка взмахнула руками и исчезла. Проголодавшийся Павел Арсентьевич стал настраиваться к обеду: разуваться, переодеваться, мыть руки и попутно растолковывать Валерке, что такое бивалентность и (подглядев в словаре) амбивалентность, причем соглашался долговязый Валерка высокомерно, – возрастное...

За столом Павел Арсентьевич, дуя на суп, изложил про дубленку. Верочка разложила второе, налила кисель, щелкнула по макушке Валерку за то, что он жареный лук из тарелки выуживал, и умело раскинула высшую семейную математику, теория которой ханжески прикидывается арифметикой, а практика сгубила не один математический талант.

После, выставив детей и конфузясь, Павел Арсентьевич чистосердечно поведал обстоятельства находки и предъявил кошелек. Верочка ознакомилась с рублем номер ОЕ 4731612, 1961 года выпуска, обязательным к приему, подделка преследуется по закону, и сказала:

– Бир сом!

– А? – встревожился Павел Арсентьевич.

– Бир манат, – сказала Верочка. – Укс рубля. Адзин рубель. Добытчик мой!..

Посмеялись...

Назавтра у Верочки после работы проводилось торжественное собрание, так что Павел Арсентьевич должен был спешить домой – контролировать детей. В четверг же, следуя закономерности своей жизни, он трудился на овощебазе (неясно, вместо кого): таскал в хранилище ящики с капустой. Когда расселись на перерыв, Володька Супрун, начальник второй группы,

стал по рублю народ гоношить. Бутерброды у Павла Арсентьевича были, рубля же – нет... А Володька ждет, и все смотрят... Плюнул про себя Павел Арсентьевич, достал найденный кошелек, который потом в бюро сдать намеревался, и подал рубль, под шуточки компании.

За портвейном с Володькой он же в очереди давился.

Застелили ящики, устроили застолье, встретили предварительно наступающий праздник 7 Ноября. По-человечески, по-свойски; хорошо.

Праздничным утром Павел Арсентьевич еще кейфовал в постели, а вернувшаяся из универсама Верочка уже варила картошку, перемешивала салат и наставляла Светку не-мед-ленно поднимать ленивых мужчин. И водочка на белой скатерти отпотевала, и шпроты, и огурчики, так что Павел Арсентьевич умильно подивился Верочкиной изворотливости.

Ответ ему был:

– Пашенька... да я у тебя же в кошельке взяла...

Павел Арсентьевич не понял.

– Ну... который ты нашел... В куртке нейлоновой, что для овощебазы, во внутреннем кармане... лежал...

Павел Арсентьевич совсем не понял. Розыгрыш.

– Двадцать рублей, – растерялась Верочка. – По пятерке. Три шестьдесят сдачи осталось...

Валерка, паршивец, из туалета голос подал:

– Дед-Мороз принес, чего неясного!..

Насели на Валерку, но он с шумом спустил воду. По телевизору загредел парад, Светка индейским кличем потребовала своей доли веселья в торжестве, пожаловал Валерка и нацелился отмерить себе алкоголя, – праздник раскручивал свое многоцветное колесо: утюжить костюм, ехать гулять на Невский, из автоматов обзванивать с поздравлениями знакомых, собираться в гости к Стрелковым на Комендантский аэродром... Возвращаясь ночью, вспоминали, как Верочка однажды из мешочка пылесоса вытряхнула десятку... Мало ли забот...

В этих заботах он с легким сердцем пожертвовал жениховствующему, предсвадебному Шерстобитову два билета на Карцева и Ильченко, а сам подменил его в дружине: подняв ворот тулупчика, до полуночи патрулировал пустынную Воздухоплавательную улицу, знакомясь с историями из жизни бывалого двадцатилетнего старшины.

Из почтового ящика в подъезде Павел Арсентьевич вынул открытку с напоминанием о квартплате.

– Ну-ка... тряхни нашу самобранку! – пошутил он, поцеловав Верочку в прихожей. И как-то... не то чтобы они друг друга поняли... а может, и поняли...

Верочка открыла защелку стенового шкафа, достала из синей нейлоновой куртки с надорванными карманами кошелек, с улыбкой открыла, перевернув, и тряхнула. На зеленый линолеум прихожей выпорхнули синенькие пятерки: раз-два, три, четыре...

В спальне испуганный совет шел шепотом, хотя дети в другой комнате давно спали. Ночью Верочка грела молоко: Павел Арсентьевич не мог уснуть, а снотворное в их доме отродясь не требовалось.

– Товарищи, – храбро спросил Павел Арсентьевич в лаборатории, – кто мне двадцать рублей возвращал, братцы?..

Прозвучало бестактно. Большинство хмыкнуло, а Танечка Березенько покраснела. Толстенький Сергеев пожал ему плечо и мужественным голосом попросил обождать аванса. Павел Арсентьевич смутился, отнекивался.

Отнекиваться у Агаряна, Алексея Ивановича, начальника лаборатории, не приходилось. Алексей Иванович хлопотливо усадил его в кресло, угостил сигаретой, осведомился о жизни, после чего ушипнул себя за кавказские усики и поручил бегленько накидать ему тезисы для

выступления на отраслевом совещании, – за последние полгода, только основы, ну, как он умеет. Всех след простыл, а Павел Арсентьевич терзался муками слова, пока сдал перелицованный текст злой золотозубой блондинке, распуская свитер в пустом машбюро.

Перед сном он стукнул кулаком по подушке, извлек из тумбочки возле кровати помещенный туда кошелек и дважды пересчитал восемь бумажек пятирублевого достоинства.

– Верочка, – фальшиво и крайне глупо обратился к ней Павел Арсентьевич, – ты зачем сюда-то свой аванс положила?..

Аванс лежал в денежной коробке из-под конфет «Белочка», в бельевом шкафу. Павел Арсентьевич закурил в спальне. Верочка пошла греть молоко.

От субботника, проводимого в четверг, Павел Арсентьевич неумело попытался увильнуть. («С таким лицом отказать в просьбе – значит обмануть в искреннейших ожиданиях... Непорядочно...») И выгребал Павел Арсентьевич ветошь из закройного без всякого подъема духа.

И подозрения его не могли не оправдаться.

Плюс двадцать ре.

А в пятницу хоронили директора пятого филиала, и отряженный от лаборатории Павел Арсентьевич стоял с траурной повязкой среди венков с лицом воистину скорбным...

Плюс двадцать ре.

В его отсутствие Верочка погасила задолженность за квартплату, прибегнув к сумме из этого кошелька. Грянула сцена.

Убедившись в недостатке, Павел Арсентьевич хлопнул своим персональным Клондайком об стену и призвал Верочку в спальню.

– Что – это? – твердо спросил он.

Верочка засвидетельствовала:

– Это деньги.

– Откуда? – надавил Павел Арсентьевич. Для него такая интонация являлась признаком значительного раздражения.

Верочка ответила:

– Из кошелька, – и нервно засмеялась.

Ночное совещание постановило: ну его к лешему. Унизительно и небезопасно. Что надо – на то они сами заработают. Еще неизвестно, откуда эти деньги в кошельке берутся. И вообще, что это за кошелек такой. Может, здесь такое замешано, что потом грехов не оберешься. Лучше держаться подальше. А посему – сдать в бюро находок, и пусть кому принадлежит – тот и владеет.

На Литейном, в бюро находок («гибрид сберкассы и камеры хранения вокзала»), Павел Арсентьевич заполнил за стойкой бланк. Похожий на гардеробщика в синем халате старик казенно кивнул. Павел Арсентьевич сунулся в карман, засуетился и оцепенел: забыл дома... Конфуз вышел.

Перерывали дом всей семьей. Валерка брезгливо возил веником под ванной. Светка, перетряхивая игрушки, деловито разломала старую гармошку и нелюбимую куклу Ваньку под предлогом поисков внутри них. Посреди развала Верочка прозрачно посмотрела Павлу Арсентьевичу в глаза, влезла рукой во внутренний карман его пиджака и достала искомый предмет.

Предмет содержал сто десять рублей.

Вдвое против вчерашнего.

– Паша, – сказала Верочка и оробела, – может, так надо?..

– Кому? – резонно возразил Павел Арсентьевич. И сам себе ответил: – Мне – нет. – Подумал и добавил: – Тебе – тоже нет.

Еще мысль проплыла, что у Танечки есть дубленка, а у Верочки нет, что у Сергеева имеется знакомый частник-протезист, вставляющий фарфоровые зубы... Вздохнул Павел Арсентьевич и обнял жену.

Теперь перед высокой двустворчатой дверью бюро он зафиксировал кошелек в кармане. По заполнении бланка карманы в совокупности содержали: носовой платок, сигареты «Петровские», спички, ключи от дома и почтового ящика и шестирублевую проездную карточку на декабрь. Абзац.

В заснеженном сквере у метро «Чернышевская» он закурил на скамеечке; осенился – проверил.

Достал.

Пересчитал. Двести двадцать как одна копеечка.

«Удваивает, негодяй...» – прошептал Павел Арсентьевич.

Зажал постыдный рог изобилия в кулаке и направил решительные шаги обратно.

Кошелек неукоснительно исчез при пересечении линии порога и появился по выходе. Павел Арсентьевич мрачно произнес не к месту фразу: «Вот так верить людям» и пошел вон.

Четыреста сорок.

Выкинуть? Ну, знаете... Да и... тоже не получится...

Следующий отчаянный заход добавил пятерку. Эта мелочность подачи воспринималась особенно оскорбительно. Мол, не ерунди, дядя, ты уже все понял.

Умница Верочка самочинно приобрела бутылку «Старого замка», и два зеленоватых стаканчика с вином светились, как в добрую старь, на тумбочке у кровати.

Выявленная закономерность не поддавалась материалистическому истолкованию, а в идеалистическом они были не сильны. Ученый совет твердого мнения не вывел. Информацию постановили во избежание труднопредсказуемых последствий не распространять, а в качестве дополнительных мер предпринять походы в филиал Академии наук и районное отделение милиции, а также дать объявление в «Вечерку».

Насчет Академии наук Павел Арсентьевич представлял себе туманно, а вывеска милиции молочно белела по соседству. Сержантик в рыжих бакенбардах понимающе проследил, не отрываясь от телефона, как потерянного вида гражданин охлопал себя по груди и бокам, покраснел и ретировался.

Обозвав себя аферистом, Павел Арсентьевич за углом ревизовал утаившиеся от органов средства, каковые увеличил таким образом на один ветхий рублишко: кошелек явно издевался.

Объявление в «Вечерке» незамедлительно потерялось: никаких отклонений и неожиданностей. Кошелек приветствовал разменной монетой двадцатикопеечного достоинства.

Нежелание очевидного позора удержало от контактов с Академией наук.

Дома густела неопределенная напряженность. Павел Арсентьевич запретил себе вдаваться в ее анализ, крепя заслон от предательски неверных соблазнов. Воля его подрагивала и держалась, как флагшток среди туманных руин.

– А многие бы радовались, – простодушно заметила Верочка. – В конце концов, он же платит тебе за добрые дела... – интонация звучала неопределенно...

– И даже за добрые намерения, – помедлив, продолжил неподкупный муж. – Ладно...

Под ее боязливым взглядом он вынул из кошелька четыреста сорок шесть рублей двадцать копеек и спустился в морозный и мирный вечер, ощущая себя чужим самому себе.

Начав твердым почерком заполнять бланк почтового перевода, он обнаружил, что адреса Министерства финансов не знает. Приемщица, озабоченная краснотой своих глазок девочка, усмотрела в вопросах насмешку, но пошла советоваться с другой девочкой, озабоченной линией челки. Под их взглядами Павел Арсентьевич занервничал, как объявленный к розыску преступник при опознании, и рассудил, что министерство не может принять на баланс сумму неизвестно откуда, а как оформить – он не знает. Да и адрес не выяснился.

Назавтра в обеденный перерыв он составил в профкоме фирмы заявление о перечислении в Фонд мира. Оформили деловито и спокойно, но вспоминался Павлу Арсентьевичу медосмотр призывников: стоишь голый перед женщинами, и за профессиональной обыденностью все равно угадывается простецкий и стыдный интерес.

– И что теперь? – задала Верочка вопрос после ужина.

– А что теперь? – благодушно отозвался Павел Арсентьевич, отметивший славный день двумя кружками пива и теперь размышлявший о парилке.

Верочка протянула кошелек:

– Пятьсот.

– Черт какой, – печально молвил Павел Арсентьевич. – А?..

– А я еще когда за тебя выходила, знала, что все у нас будет хорошо, – прорвало вдруг и понесло Верочку. – Мне девчонки наши говорили: «Смотри, Верка, наплачешься: хороший человек – это еще не профессия. Он же такой у тебя правильный, такой уж – все для всех, весь дом раздаст, а сами голые сидеть будете». Но я-то чувствовала, что все не так.

Это признание на шестнадцатом году семейной жизни Павла Арсентьевича задело неприятно... Нечто не совсем ожидаемое и знакомое было в нем...

– Паша, – тихо сказала Верочка и вдруг заплакала. – Ну что ты мучишься?.. Уж неужели ты не заслужил?..

– Да что ты несешь? Что заслужил? – в бессилии и жалости вскричал Павел Арсентьевич. Он устал. – Устал я!

– Все же... все тобой пользуются. Должна же быть справедливость на свете...

– Какая еще справедливость! – закричал Павел Арсентьевич, комкая в душе белый флаг капитуляции. – Квартиру дали, зарплаты получаем, в доме все есть, какого рожна?!..

И нелепо подумалось, что ему сорок два года, а он никогда не носил джинсов. А ведь у него еще хорошая фигура. А джинсы стоят двести рублей. А Светка через десять лет станет невестой...

По лаборатории ползли слухи. Скромный облик Павла Арсентьевича обогатился новой чертой некоей оживленной злости. Предначертанность отчетливо проступила с прямизной и однозначностью рельсовой колеи.

И – лопнул Павел Арсентьевич. Сломался. (И то – сколько можно...)

...В Гостином поскользнулся на лестнице, в голове волчком затанцевала фраза: «На скользкую дорожку...», и он не мог от нее отделаться, когда отсчитывал в кассу за венгерскую кофту кофейного цвета, исландский кофейной же шерсти свитер, куклу-акселератку со сложением гандболистки, когда принимал у нагло-ласковых цыганок пакеты с надписью «Монтана» и на Кузнечном рынке набивал их нежнейшими, как масло, грушами, просвечивающим виноградом, благородным липовым медом желтее топаза, когда в винном, затовариваясь марочным коньяком и шампанским, в помрачении ерничая выстукал чечетку («Гуляет мужик... с зимовки вернулся», – одобрительно заметили за спиной), когда оставшиеся сорок семь рублей, доложив три двадцать своих кровных, пустил на глупейшую якобы хрустальную вазочку в антиквариате на Невском.

– Откуда приехал? – со свойским одобрением спросил таксист у разваливающейся груды материальных ценностей на заднем сиденье, меж которыми вертелась кроличья ушанка Павла Арсентьевича.

– С улицы Верности, – зло отвечал Павел Арсентьевич. – Дом тридцать шесть.

Себе он приобрел десять пар носков и столько же носовых платков, приняв решение об отмене всяческих стирок. Хотел еще купить стальные часы с браслетом, но денег уже не хватило.

Неуверенный возглас и заблудившаяся улыбка Верочки должны были изобразить их невинность, непричастность к свалившемуся изобилию – ну, как если бы они получили наследство от дальнего и забытого родственника. Светка возопила о Новом годе; Валерка удивился отсутствию нравоучений. Павел же Арсентьевич издал неумелое теноровое рычание, отведая коньяку, пожалел, что не водка или портвейн, и припечатал точку – вежу воткнул: «Ну и черт с ним со всем». Перевалив внутренний хребет самоуничтожения, он почувствовал себя легче.

Валерка высказался в том духе, что лучше б часы, а не свитер.

Светка, чуя неладное, опасалась, что утром все исчезнет.

Верочка прикинула кофту и пошла в спальню с выражением то ли оценить вид, то ли всплакнуть.

А Павел Арсентьевич заполировал коньячок шампанским, мелодично отрыгнувшись, и напомнил себе записаться на прием к невропатологу и получить рецепт на снотворное.

Однако спал он чудно. Снились ему джунгли на необитаемом острове, среди лиан порхали пестрые попугаи с деньгами в клювах, а он подманивал их манной кашей, варящейся в кошельке, втолковывая, что кошелек портится без денег, а попугаи гибнут без каши, и если он не наденет джинсы, то они не научатся говорить, усовещивая, что машина ему не нужна – не пройдет в джунглях, а вездеход ему, как частному лицу, не продадут.

– Для вас! – кричал он, шлепая по теплой каше ладонью. Попугаи ворковали, кружась: «Паша, Паша...» – но денег не выпускали.

– Паша, – сказала Верочка, дую ему в лицо. – Не кричи... Ты дерешься...

Случай предоставился тут же: в Архангельске упорно не клеил Л-14НТ, зато клеил немецкие моющиеся обои дома Модинов и уламывал каждого откомандироваться за него. Сборы Верочкой «командировочного» чемодана Павла Арсентьевича и провода в аэропорт носили невысказанный подтекст.

Под порошистым небом Архангельска звенела стын; маленькая одноэтажная фабричка оказала ему прием – авторитет! – забронировали гостиничную одиночку, директор попотчевал в ресторашке... неудобно...

Возясь до испарины в обе смены, с привычной скрупулезностью проверяя характеристики состава и режима выдержки, не мог он не думать – сколько это будет стоить... Раскумекав простейшее и указав парнишке-директору дать разгон намазчицам за свинскую рационализацию (мазали загодя и точили лясы), честно признал, что и за так работал бы не хуже.

На родном пороге, отряхая с себя пыльцу северной суровости и вручая домочадцам тапочки оленьего меха с вышивкой, оттягивал ожидаемое...

Возмутительной суммой в три рубля оценил кошелек добросовестнейшую наладку клевого метода крепления низа целому предприятию. Уязвленный и разочарованный Павел Арсентьевич слегка изменился в лице.

– Как же так? – произнесла Верочка с обманутым видом. – И здесь тоже... – Подразумевалось, что ее представления о справедливости и воздаянии по заслугам в очередной раз не совпали с действительностью.

Так что билеты в Эрмитаж на испанскую живопись, из таковой все равно знавший лишь фамилию Гойя и картину «Обнаженная маха», Павел Арсентьевич уступил Шерстобитову хотя и готовно, но не без некоторого внутреннего раздражения. Все же, когда за добро хотят платить – это одно, но подачки...

Однако оказалось – десятка... Хм?..

Участие в составе комиссии по проверке санитарного состояния общежития профессионального училища – двадцать.

Составление техкарты за сидящую на справке с сыном Зелинскую – тридцать.

Передача Володьке Супруну двухдневной путевки в профилакторий «Дибуну» – сорок.

С неукоснительной повторяемостью прогрессии выростала привычка, растворявшая душевное неудобство. В свободные минуты (дорога на работу и с работы) Павел Арсентьевич пристрастился размышлять о природе добра и предназначении человека.

В фабричной библиотеке он выбрал «О морали» Гегеля, с превеликим тщанием изучил первые четыре страницы и завяз в убеждении, что философия не откроет ему, откуда в кошельке берутся деньги.

Принятие на недельный постой покорного сорокинского кота (страдалец Сорокин по прозвищу «Иов» вырезал аппендицит) – девяносто рублей.

Провоз на метро домой Модина, неправильно двигавшегося после отмечания своего сорокалетия, и вручение его жене – сто рублей.

Добросовестнейший Павел Арсентьевич постепенно утверждался в мысли о правомерности своего положения. Говорят, период адаптации организма при смене стереотипа – лунный месяц. Так или иначе, – к Новому году он адаптировался.

– Не исключено, – поделился он мыслями с Верочкой вечером на кухне, – что подобные кошельки у многих. Как ты думаешь?..

Верочка подумала. Электрические лучи переламывались в белых плоскостях гарнитура. Новый холодильник «Ока-III» урчал умиротворенно. Она соотнесла оклады знакомых с их приобретениями и признала объяснение приемлемым.

Доставка трех литров клея для нужд школьного родительского комитета – сто пятьдесят рублей.

Помощь при переезде безаппендиксному Сорокину – сто шестьдесят рублей.

И азартность оказалась не чужда Павлу Арсентьевичу: впервые конкретный результат зависел лишь от его воли. Дотоле плавное и тихое течение неярких дней взмутилось и светло забурлило. Краски жизни налились соком и заблистали выпукло и свежо. Прямая предначертанности свилась в петлю и захлестнула горло Павла Арсентьевича. Жажда стяжательства обуяла его тихую и кроткую душу.

Павел Арсентьевич втянулся, превращаясь в своего рода профессионала. Деловито вертел головой: что еще он может сделать? Проходя коридором, бросался в дверь, за которой двигали столы. Отправлялся в дружину каждую субботу; лаборатория переглядывалась: дома, видать, нелады...

Дома были лады. Очень даже. Жить стали как люди.

Павел Арсентьевич отыскивал молоток и гвозди и чинил ветеранше фабричной химии Тимофеевой-Томпсон каблук, вечно отваливавшийся вследствие ее индейской, подвернутой носками внутрь походки. До полуночи подвергался психофизическим опытам темпераментного отпрыска Зелинской, посещавшей театр. Сдав в библиотеку многомудрого Гегеля, до закрытия расставлял с девочками кипы книг по стеллажам; в благодарность его собрались наградить «Ночным портье», – он отказался с испугом...

– Вы похорошели, Павел Арсентьевич, – отметили Зелинская и Лосева, оглядывая его енотовую шапку. – Что-то такое мужское, знаете, угрюмоватое даже в вас появилось.

Зеркало ни малейших изменений не отражало, но, уловив несколько «женских» взглядов, Павел Арсентьевич решил, что нравиться еще вполне может. Ничего такого.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.